

СЕРБСКОЕ
СЛОВО

Кто я для себя

Михайло
Пантич

СЕРБСКОЕ СЛОВО Кто я для себя

Михайло
Пантич

Некоторые истории следует
рассказать несколько раз.
Несколько раз – это сколько?

Зависит от критерия.

А часто ли это бывает?

Или только иногда, в порядке исключения?

Кто бы знал... Все равно, истории
случаются всегда, когда им самим этого хочется,
и всегда одна помимо другой.

Из рассказа
«Над поездами,
уезжающими вдаль»

Теперь у меня все перепуталось, где, что и как,
но я не пытаюсь распутывать, воспоминания
идут туда, куда им хочется.

Мы вспоминаем не то, что нам хотелось бы
вспоминать, а то, что хочет, чтобы его вспомнили,
и для этого использует нас...

Из рассказа
«Первые десять лет»



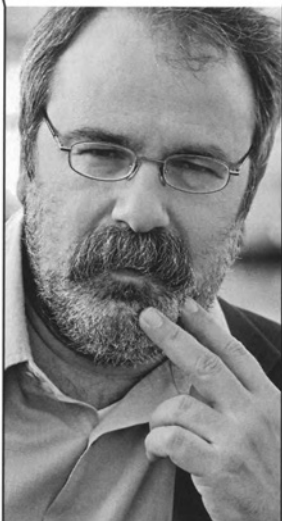
Центр
книги
Рудомино

ISBN 978-5-00087-169-0



СЕРБСКОЕ СЛОВО





М и х а й л о

П а н т и ч

Кто я для себя

М о с к в а

Ц е н т р

к н и г и

Р у д о м и н о

2 0 1 9

УДК 821.163.4-3
ББК 84(4)-44
П16

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

Перевод на русский язык осуществлен при финансовой поддержке
Министерства культуры и информации Республики Сербии

Редколлегия: Е. В. Сагалович, Ю. А. Созина, Ю. Г. Фридштейн

Дизайн серии Т. Н. Костериной

В оформлении использован фрагмент картины
художника Николы Распоповича

Пантич, Михайло

- П16 Кто я для себя / Михайло Пантич; [перевод с сербского]. – М.:
Центр книги Рудомино, 2019. – 304 с. – (Сербское слово).
ISBN 978-5-00087-169-0

В новой книге Михайло Пантич (р. 1957) исследует судьбы обычных
людей и необычные события. Это книга о середине жизни, когда у
каждого из нас есть своя история, и мы часто ею недовольны, но нет
сил, чтобы эту историю изменить. Это книга об опыте, о любви и
боли, о потерях и приобретениях, и о любимом городе – Белграде.

УДК 821.163.4-3
ББК 84(4)-44

ISBN 978-5-00087-169-0

© Михайло Пантич, 2016, 2019

© С. Борисов, Т. Жарова, Ж. Перковская, А. Плотникова,
Л. Савельева, Е. Сагалович, О. Сарайкина, Ю. Созина,
Е. Шатъко, перевод, 2019

© ООО «Центр книги Рудомино», издание на русском языке,
оформление, 2019

Что происходит в Квартале 21

Я давно туда не хожу. Во мне слишком много прошлого. Этот городской квартал, построенный в песчаной пустыне на другой стороне реки, я давно вытеснил на периферию сознания. Годами он здесь мерцал, как бледная картинка, бледнее самой бледной тени, почти в забвении. Куча зданий-громадин, в одночасье пробившихся из земли, по которой люди никогда раньше не ходили. Слепое пятно для всевидящего ока даймониона. Нарост из панельных высоток, в стерильной симметрии кубов и прямых углов, на черной мессе крещеный проклятым, хромым номером 21. Вновь прибывшие жители, опьяненные мескалином повседневности, заперты в своем коллективном одиночестве. Да, да, повседневность – это темница, с девятью невидимыми замками. Здесь я вырос и потом, воспользовавшись первой же возможностью, сбежал, не оглядываясь, двумя кварталами дальше, к Дунаю, с желанием никогда не возвращаться. Не только с желанием, но и с твердой решимостью, и с еще более твердым обещанием. Самому себе. Такие обещания – самые сложные, обещания, данные другим, после всех мучений, как-то получается сдержать.

Себе – никогда.

Иногда, проезжая мимо на автобусе или на машине, я бросал взгляд на Квартал 21. Не более того. Иногда, конечно, я думал, где сейчас те, с кем я когда-то проводил время, те, кто по неосторожности делал мне больно, кому и я, по тем же или схожим, по большей части бессмысленным причинам причинял боль. Так, походя, — ведь живешь, чтобы принимать боль, существуешь, чтобы причинять ее другим...

Долгая история. Но эта — не о том. Или о том, как посмотреть. Ведь все истории разные. Будь иначе, их бы не было. Но все они, о любви или о боли, одинаковые. Всегда о постоянной нехватке любви, всегда о постоянном избытке боли. Не будь они таковыми, мы бы не знали, о чем они, а когда ни о чем — они ничто. Бесполезные слова понапрасну...

История с Петаром случилась внезапно. Когда я в прошлую пятницу возвращался с прогулки по Дунайской набережной, мимо прошел пожилой человек моих лет. В коляске он вез близнецов, двух или двух с половиной лет, в этом я не очень-то силен, в похожем фильме играл уже давно. По пятницам истории не рассказывают, пятничные истории плохи, как и автомобили, собранные в этот день, потому что мир спешит дожить до выходных, чтобы упиться и нажраться до коматозного состояния, чтобы хоть ненадолго забыть о ежедневном рабстве. Как есть, так есть, за редким исключением. Вот оно. Прохожий и я взглянули друг на друга. И пошли дальше. А потом я, через шаг-другой, оглянулся и меня осенило: «Да я же его знаю».

Неудивительно, он тоже оглянулся. Он тоже меня знал. Откуда-то.

Когда-то.

– Мы знакомы... – скорее сказал, чем спросил я.

– И мне так кажется.

– Давно?

– Как-то так.

– Очень-очень давно.

– Сто лет назад?

– Примерно. На самом деле, немногим меньше.

– Стойте, стойте, вы, должно быть, учились в гимназии в Квартале 21.

– Именно. И вы, верно, там же.

– Конечно. У меня вели Джамбасович и Бекрилович, Мешиневич и Дудукович. Колунджия был классный руководитель...

– Эй, Петар, это ты?

– Я, а ты – Михайлович.

– Именно. Ну, как ты, Петар? Внуки у тебя молодцы.

– Да вот, Михайлович, я здесь. Только...

–?!...

– Это не внуки. Это мои дети.

– Ого, как здорово. Славные. Смотри, какие спокойные крошки

– Милош и Ивана, близнецы. Да, они... хорошие

– Тебя не напугало «у старого отца дети сироты», – я попытался быть остроумным.

– Да я об этом и не думал. Просто так случилось. На старости лет. Скажу я тебе, раз уж мы обмениваемся народной мудростью, «родились – надо качать колыбельку». Все сначала.

– Что ты имеешь в виду, сначала?

– Ну, по второму разу. У меня две взрослые дочери от первого брака. Обе замужем, одна живет в Канаде, вторая – в Будапеште. Та, что в Канаде, архитектор, а вторая преподает гендерные отношения.

Мы разговорились. И как-то незаметно, шаг за шагом, продолжили прогулку. Дунай делал то же, что и каждый день – тёк, величественно, в ранних сумерках, и я припомнил слова той бабки из Бановцев: «Если не попаду в рай, то пусть в Дунай».

– Моя первая жена умерла. Я остался один, был еще относительно крепок. Дети разъехались, жизнь свелась к растворению в работе. Компания из квартала давно распалась, кто-то умер, кто-то пропал, на сорокалетие окончания школы нас собралось всего человек десять-двенадцать, все постарели. Едва узнали друг друга. Потом опять ничего. А у тебя?

– Что сказать. Роман с продолжением. Все видел, все слышал. Бесконечные повторы. Живу один.

– Дети у тебя есть?

– Да, есть, только уже не дети, а взрослые люди. Каждый со своей жизнью. И как ты справляешься во второй раз?

– Как должно. Что должен, то и умею.

Бабка из Бановцев сказала бы: «То и буду».

– Где твоя жена? – спросил я, не особенно заинтересованно. Но, раз уж начали разговор, надо его и закончить.

– Ушла.

– В магазин?

– Да нет, совсем ушла. Бросила меня с детьми, навсегда.

– Да что ты такое говоришь! Как это – бросила?

– Да вот так. Говорит, обрела веру. И хочет себя ей посвятить. Сейчас она послушница в монастыре, там, на юге. Мы как раз ее навещали. Я чуть не задохнулся от слез, представляешь, а она на нас смотрит спокойно и все повторяет: «Божья воля, Божья воля».

– Вы не развелись?

– Мы и не женились. Она подруга моей дочери, той, что в Будапеште, они были коллегами. Однажды, когда дочь приезжала ко мне в гости, она нас познакомила. Даже не могу сказать, как это случилось. Просто случилось. Как в кино, пожилой мужчина и молодая женщина. Запутался до головной боли, а на самом деле все просто, слепое влечение, прежде всего. Ну и все остальное. Мы даже не жили вместе. Первые месяцы я ездил в Будапешт или она приезжала ко мне. Она забеременела.

– И?

– И года не прошло, как родила – а прерывать беременность она не хотела – когда сказала, что нас оставляет. Я не знал, что делать. Но со временем привык. Плачу двум женщинам, чтобы о них заботились; и сейчас не отпускаю их от себя, ни за что. Приходили из Центра социального обеспечения, я сказал: «Нет!» Я знаю, что не слишком хорош для их будущего, но это бы ни на что не променял. Я старею, а они моя радость.

Один ребенок обернулся, словно знал, что мы говорим о них. Петар дал ему бутылочку с водой. Второй спал ангельским сном.

– Ну, Петар, я рад, что мы увиделись. Спустя два тысячелетия.

– И я, Михайлович, и я. Не пропадай.

– Ты в старом квартале?

– За пятьдесят лет не сдвинулся с места. Все изменилось. Я теперь даже не знаю людей, которые живут в моем подъезде. Старые поумирали, наследники продали или сдают квартиры. Встречаю только новые лица, ни одного знакомого. В лучшем случае здороваемся, и то не всегда. А ты, ты где?

– Здесь, на набережной, смотрю на Дунай.

Я ущипнул девчущку за пухлую щечку, погладил мальчика по головке.

Обменялись номерами телефонов.

Он позвонил уже на следующее утро. В то время дня, когда я, как обычно, преисполнен отчаяния. Такого необоснованного, субботнего. самого тяжелого, потому что невозможно узнать его причины, если только это не сама жизнь. На рассвете мысль плотнее всего, чувствуешь и бессмысленность, и стыд, и пустоту, и просто излишнее присутствие самого себя. Только утром во мне еще есть какие-то фразы, днем они растворяются и бледнеют. После этого я нахожу какое-нибудь занятие, что-то, что съедает время. Я пишу. Работа, по себе знаю, уменьшает отчаяние, и тогда мы погружаемся в самозабвение. «А рабочий человек не может остановиться», как, конечно, сказала бы бабка из Бановцев. Да уж, до всякой мудрости доходят случайно, словно та падает с неба, главным образом, скудоумным созданиям, тем, кто по незнанию изрекают великие истины.

Я поднял трубку после третьего звонка.

– Да!

– Я тебя разбудил? Доброе утро, это Петар.

– Нет, Петар, не разбудил. Я рано встаю, сколько соберу из накопившегося за ночь, столько у меня и есть... Со дна соскребаю.

– Ха, это ты хорошо сказал, это с возрастом происходит. Знаешь, зачем я тебе звоню?

– Говори.

– Мы словно накликали мою суженую. Объявилась вчера вечером, без предупреждения, словно черная птица. Постриглась в монахини. Поцеловала детей, мы немного поговорили. А потом в разговоре, так вышло, к слову пришлось, я ей рассказал, что днем встретил кое-кого, кого давно не видел. Назвал тебя. Знаешь, я добавил, что ты мой школьный друг, что мы встретились случайно, сто лет спустя, ох, как люди меняются, но мы все же друг друга узнали, а после этих слов она побледнела. Я спросил, что с ней. Сказала, что читает твои книги.

– Неужели! Прямо в сердце.

– Да, да. А я вообще не знал, что ты писатель. Инженерный склад ума, я как-то никогда особо не читал. Кроме как по работе. Книги для меня что-то лишнее. А она, видишь, вот как. Говорит, что хотела бы с тобой познакомиться, ты ей помог, этими своими книгами, так она сказала, когда ей было тяжело.

Отчаяние не проходит. Отчаяние как самый плотный эгоизм, внутренняя тьма во тьме. Девятая комната, с семью замками. Это первое, что мне пришло в голову в то утро.

– Знаешь, она завтра уезжает. Переночевала здесь, при новой церкви; она бы хотела с тобой увидеться. Если ты сможешь, я был бы признателен. Понимаешь?

– Хорошо, я приду. Только скажи, куда и когда.

– Сегодня, около полудня. Иди туда и спроси сестру Ангелину...

Я пошел. Рядом с Кварталом 21 несколько лет назад построили церковь. На том месте, где когда-то мальчишкой я слонялся по зарослям и ловил в лужах рыбу. А сейчас люди, потомки безбожников, здесь собираются на богослужение...

Я спросил сестру Ангелину. Когда она вышла в церковный двор, я узнал ее издалека, – я сидел на лавочке под липой. Очень перспективный молодой теоретик, я знал ее по телепередачам и публичным выступлениям, мне кажется, даже читал две-три ее работы в журналах.

Когда она подошла, я встал поздороваться.

– Здравствуйте, Анна..

– Ангелина. Здравствуйте, Бог вам в помощь. Теперь я Ангелина.

– Рад вас видеть.

– И я рада. Я хотела с вами познакомиться. Удивилась, когда Петар рассказал, что вы знакомы и что вчера встретились. Теперь, приняв все три обета и уходя служить, я просто хотела вас поблагодарить. Не нужно спрашивать, почему, я сама скажу, что вы помогли мне узнать себя. И ничего более. Все последующие решения по милости Божьей мои и только мои.

– Я вас все равно спрошу, зачем вы это делаете. В расцвете лет, оставляете своих детей на попечение старого человека.

– Это промысел Божий. Я чувствую, что должна так поступить, и что Господь поддержит меня в этой решимости. Я дала себе обещание.

– Я не спору. Просто говорю, что у каждого чувства есть причина. И у решения есть причина.

– Конечно. Я себе это объяснила. Все, чем я занималась, все, чему себя посвящала, всегда целиком, все понятия, все люди, да и предметы, – утратили свою суть. Мир вокруг меня превратился в туман и дым, исчез, потерял свои границы. Я отчаялась. Я перестала верить словам и сказала себе: «Теперь ты будешь молчать, больше сказать нечего. Молись безгласно». Сомнение было так сильно, что я задумалась о петле. Не то нормальное сомнение в том, что я испытываю в своей профессии, и которое свойственно любому разумному существу. Нет, не такое, а глубокое, черное, уничтожающее все, с чем сталкиваешься. Все, с чем соприкасаешься. И тогда я поняла. Или думаю, что поняла. Мне нужно безмолвие, чтобы как-то выдерживать жизнь, ее стихию. Вы знаете, без подлинности веры нет жизни...

– Вы имеете в виду истину?

– Нет, я имею в виду подлинность. Это разные вещи.

– Как так?

– Все просто. Истина хочет быть правдивой для всех, и именно поэтому однажды она превращается в агрессию, в насилие, в исключительность.

– А, вот как... Понимаю.

– А подлинность – это личная истина. Глубинное убеждение.

– И принадлежит только тому, кто несет ее в себе.

– Не обязательно, может и другому. Но без меня – не может. Не существует. И чтобы пройти этот путь,

нужна вера. А вера требует какого-то учения, формы, обряда. И она безусловна. Верую, и точка.

– Для этого нужна была смелость.

– Что вы имеете в виду?

– Изменить жизнь. Уйти. Забыть о многом.

– Так и я думала, до тех пор, пока в молитве мне не открылось, что смелость была лишь оправданием страха. Нет, нет, бояться надо, конечно, надо, но не мирских вещей и решений. На самом деле, теперь я знаю, что боялась только неуверенности и пустоты, страсть и любовь ни при чем, любовь – это прощенная страсть, ее преодоление.

«Я напишу об этом рассказ, – подумал я. – Рассказ о том, что происходит в Квартале 21».

Она встала.

– Извините, – сказала она на прощание. – Я хотела все это кому-то сказать, но не исповедаться, а закрыть книгу.

Мы пожали друг другу руки. Я задержал ее ладонь в своей на секунду-другую дольше, чем это принято. Какое-то смирение, если это подходящее слово, исходило от этого прикосновения.

Она вошла в церковь. А я развернулся и покинул Квартал 21. Думая, что в этот раз навсегда.

Не бывает навсегда. На следующий день я прочитал в газете, что инженер Петар М., из моего старого района, повесился. У него остались близнецы... Сообщалось, что о них позаботятся органы опеки.

(...)

После похорон я отправился на долгую прогулку по набережной, смотрел на дома и на молодых матерей,

как они катают в колясках своих малышей. На Устье развернулся и пошел обратно. Поздний послеполуденный свет падал на панельные высотки Квартала 21. Шаг за шагом, думая о том, что рассказы не нужно выдумывать, ведь их сочиняет сама жизнь, я поднялся на свой этаж, отпер дверь и вошел в квартиру. Застоявшийся воздух требовал покаяния. Я начал бредить, и мне требовалось звездное небо, и лодка, из которой я бы в него всматривался, мне нужна была мантра, плач первенца, шерстяное рядно... хотя бы какой-нибудь гортанный звук. Ничего. Ладно, думал я, как написано, так и будет, остаться в одиночестве – это не плохой выбор (тогда обет не нужен), только иногда, именно в тот момент, оно может быть надсадным, непреодолимым. Я открыл окно и, давясь от злости на самого себя и на все небесные тела, захотел закричать в еще бледную раннюю ночь, Дунаю. В глухую и безразличную тьму, укрывшую зримый мир.

О незримом я позабочусь сам.

Так должно быть. Если я хочу разобраться с самим собой. Я думаю, это могло бы быть моей подлинностью.

Хорошо, когда тебя зовут не Ян

Я сел в поезд.

В этом нет никакой особенной истории. Сесть в поезд – уже целая история: вы ищете место, раскладываете багаж, ожидаете, когда состав тронется, встречаетесь взглядами с людьми, которых никогда до этого не видели, вдыхаете аромат их духов, вступаете в короткие, обрывочные разговоры, просите посмотреть газеты, на секунду задерживаясь на заголовках, читаете книгу, не погружаясь в нее, глядите в окно, пересчитываете столбы (гляди-ка, олени в поле!), засыпаете под стук тяжелых колес; отовсюду наползают мысли, которые ни в каком другом месте не пришли бы в голову, затем пробуждение, когда на мгновение вы не можете понять, где находитесь... И так далее.

Ах, да, я в поезде, еду. Точнее, ехал: это было давно, когда я еще верил, что все вокруг меня и я, погруженный в это *вокруг меня*, имеет некий смысл, что есть причины, нужно только искать, открывать их. Ничто не откроется нам само, думал я тогда, а теперь, отданный во власть случайности и чистой стихии, я ни о чем особенно не думаю. Разумеется, если я вообще знаю, что такое это *сейчас*, ведь через мгновение пройдут те три секунды, о которых говорят «сейчас», и все это уже прошлое, наступает новое *сейчас*, три но-

вых секунды, которых хватит, чтобы перебежать площадку, прицелиться для броска в корзину и быть остановленным финальным свистком судьи.

Конец.

Или, лучше сказать, один из возможных концов. Просчитывают всегда наперед, только наперед, но образы приходят отовсюду, со всех сторон: возвращаются, падают с неба, проникают во взгляд и мысль, но чаще всего, тем не менее, они приходят из так называемого прошлого, которое действительно длится слишком долго и копит образы, они накладываются один на другой, пока не сольются и не отвердеют, как камень, в многослойную скалу... *Сейчас*, дважды помноженное на *сейчас*... равняется вчера. И только превратившись в позавчера, позапозавчера или даже позапозапозавчера, все это станет давней-давнишней давностью; так сказать, воспоминанием, хотя я не знаю, что можно назвать воспоминанием, всякий момент – воспоминание, в любое мгновение я помню себя – да, я помню, как однажды ехал на поезде.

Да, на поезде.

Поездка была долгой. Долгое путешествие в ночь, как в той книге, содержание которой я позабыл¹, хотя сам как-то раз, было дело, однажды прочитал ее, не отрываясь. У меня после нее не осталось никаких так называемых воспоминаний, кроме названия, которое само собой прилепилось к этой моей поездке, одной из многих моих поездок, на поезде, сам не знаю, куда,

1 «Долгое путешествие в ночь» – драма американского драматурга Юджина О'Нила (1886–1953). – *Здесь и далее примечания переводчиков, если не указано иное.*

туда и сюда. То путешествие, о котором я пытаюсь рассказать, помню отлично, но никак не могу на нем сосредоточиться, так как образы и мысли всегда влекут меня туда, куда хочется им. Никто не хозяин своим мыслям, а раз никто не хозяин, с чего бы мне им быть. Мой властелин – шум в моих ушах; постоянно, и днем, и ночью, я слышу внутри себя приглушенный стук колес поезда, что несется сквозь ночь, спеша к известной цели. Этот поезд во мне, властелин моего слуха, точно знает, куда он, идет. Я тоже знаю, вернее, чувствую, что он по неведомому мне расписанию прибудет туда, куда направляется, точно вовремя, если я вообще знаю, что такое время. Он прибудет на вокзал, и через мгновение после остановки состава, свистящего, грохочущего, скрипящего и стучащего в моем внутреннем ухе, исчезнут все звуки и образы, там будут отсчитаны последние три секунды. Раз никто не знает, что такое время, с чего бы это знать мне – чем я отличаюсь, чтобы знать, что такое *сейчас*, что такое время, что такое воспоминание, почему мой мозг гудит, как трансформатор, зачем и когда...

Слишком много сложных вопросов, признаю.

Так или иначе, я ехал на поезде. Путешествующий поездом обязательно должен знать, куда он едет – возможно, какой-нибудь Летучий Голландец или Агасфер не знает, куда лежит его путь, но я еще ребенком выучил, что Агасфер идет пешком, а Голландец плывет на корабле – в поезде их не встретишь. Конечно, в поезде, как и на улице, и где угодно еще, едва выйдя из комнаты, вы кого только ни встретите: в супермаркете – татарина, в театре – Изна Ан-

дерсона¹, ну, знаете, того сатира с флейтой, что скачет на одной ноге; а если вы гуляете вдоль Дуная, то можете встретить и Красавицу Яну, дочь старого рыбака²; а вот, совсем рядом, в ста шагах, Ян Аккерман³, поставив перед собой шляпу для мелочи и глядя куда-то за реку, плетет узоры на гитаре: боже мой, как этот человек играет... а вот Янко из «Ветра», который время от времени приходит в богоугодное заведение «Лаза К. Лазаревич»⁴ к доктору Аве, чтобы спросить у него, не появилось ли чего-нибудь нового для лечения тинниты, а то этот звон в голове его убивает, глаз не сомкнуть.

Дальше...

Однажды в пражском метро я видел Грабала. «Пан Грабал», – хотел я окликнуть его, но вдруг понял, что это было бы очень невежливо: в пражском метро ездят спокойные и вежливые пассажиры; и никто никак не реагировал на столь поразительный случай – при условии, что это случай (что, впрочем, такое, этот проклятый случай?) – когда вместе с ними в этом *сейчас*, в сотне раз по три секунды, едет и пан Грабал. Едет, ну и что такого, тоже мне, чудо, да каждый день – это чудо, ну едет человек в метро, не на своих же двоих ему чапать... я поймал себя на том, что пробиваюсь сквозь

- 1 Шотландский флейтист и мультиинструменталист, лидер британской рок-группы «Jethro Tull» (р. 1947).
- 2 Красавица Яна, дочь старого рыбака – персонаж стихотворения хорватского поэта и романтиста Августа Шеноа (1838–1881), а также песни югославской рок-группы «Баяга и инструкторы».
- 3 Нидерландский гитарист (р. 1946).
- 4 Лаза К. Лазаревич (1851–1891) – сербский писатель и психиатр чьим именем названа психиатрическая больница в Белграде, открывшаяся в 1961 г.; Янко – персонаж его рассказа «Ветер».

толпу, намереваясь обратиться к Грабалу, поприветствовать его самым почтительным образом, передать ему, как я восхищаюсь его божественным лепетом. Это на самом деле так. По пути я случайно наступил на ногу какой-то старушке, на ее лице отобразилось выражение испуга, смешанного с болью, она побледнела, потом тут же покраснела. Пока я извинялся и извинялся, мы приехали на станцию «Каетанка», и Грабал вышел, если это был Грабал. Я уверен, что он, но никогда ничего нельзя знать наверняка: воспоминание и вымысел – самые близкие родственники, и кто сможет доказать, что все то, что он помнит, было так, как оно было.

Таких людей нет, и я не таков.

Может, это был и не Грабал, может, мне только показалось, что он, может, я хотел, чтобы это был он, может, я его выдумал, сотворил из манны небесной – не важно, так это или нет, знаю только, что, пока я через окно вагона следил за ним взглядом, этот старик, который мог быть Грабалом, мог не быть Грабалом, немного подволакивал правую ногу, и это не должно обязательно что-то значить. Старики тяжело ходят, их мучают тазобедренные суставы, грыжи, прокталгии, простата, черт знает что еще: медицина настолько шагнула вперед, что даже среди молодежи теперь нет абсолютно здоровых, – а та старушка, которую я неосторожно задел своим башмаком 46-го размера, бедняжка, едва не упала в обморок, и вокруг нее тут же образовалось пустое пространство. Одна молодая дама, сидевшая на уровне моего, слава богу, здорового тазобедренного сустава и без всякого интереса читавшая книгу, вдруг очнулась или, лучше сказать, вынырну-

ла из несуществующего, но такого реального книжного мира. В этот мир она погружалась ежедневно, пока ехала от станции до станции. В один миг она поднялась и уступила место ошарашенной бабуле, онемевшей от боли и полной сумки медицинской документации, в то время пока я, как крыса, с чувством вины, был провожаем взглядами пассажиров, которые – я имею в виду взгляды, а не пассажиров – жгли мне затылок. Так говорят, хотя взгляды не могут жечь, и, по правде сказать, только сами пассажиры могли бы меня сжечь, но, как я уже сказал, это были приличные люди, и сожжений у них уже было в избытке: я имею в виду Яна Гуса и Яна Палаха, – и выходя, я спросил себя, как это имя связано с сожжением, и обязательно ли сжигаемые или самосжигаемые должны зваться Ян. Может быть, само имя налагает проклятие. После всех размышлений и вычислений я пришел к выводу, что мне повезло не быть Яном.

Если это можно назвать везением. Я объясню. Но не сейчас.

А в другой раз, уже в парижском метро, я видел Хандке. Правда видел, у меня есть свидетели. Не один, а целых два. Два свидетеля плюс мое заявление, данное под присягой, имеют в суде силу, так сказать, неопровержимого доказательства. Что касается Грабала, кто-то усомнится: да ну, что ты выдумываешь, тебе показалось, ты толкнул несчастную бабульку, а потом в своем так называемом «воспоминании» сочинил оправдание, мол, это произошло, когда ты бежал за реальным или вымышленным Грабалом, но тут проявилась твоя неуклюжесть и невнимательность. А та старая женщина,

какая досада, как раз возвращалась от врачей, которые сообщили ей, что каждая без исключения жизнь неминуемо заканчивается смертельным исходом, и этот страх перешел с нее на тебя, поэтому-то тебе нужно было найти причину... С этим я, быть может, и мог бы согласиться: это произошло в то время, когда я еще искал причины, оправдания, подтверждения тому, что что-то есть, потому что оно есть, а чего-то нет, потому что его нет – все равно – готов поклясться, что это был пан Грабал, честное слово, но, зная, что лжесвидетельство карается сожжением или вечным горением в аду, я сделаю небольшую *reservatio mentalis*¹.

А что, если так делал Торквемада, то и я могу.

Так что, как бы я ни сомневался, я все равно свидетельствую, что это был пан Грабал, либо кто-то еще, он приволакивал правую ногу и, бесспорно, вышел на станции «Каетанка». И была там, об этом нечего и говорить, та старушка, сто процентов, с тяжелым прогнозом. А насчет Хандке я уверен безоговорочно, без фиги в кармане: у меня есть два свидетеля, Горан и Младен. Можете спросить у них, они подтвердят, один и другой, у меня есть их адреса. Вот только встреча с Хандке меня не слишком впечатлила: страх вратаря перед одиннадцатиметровым² все же не страх смерти, даже фигурально. В вагоне было совсем мало народу, я мог спокойно подойти к нему и спросить: «Эй, слушай, Хандке – это твое имя или фамилия?» –

1 Мысленная оговорка (лат.), лишаящая клятву обязательности ее исполнения.

2 «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» – роман П. Хандке.

но я этого не сделал, во-первых, потому что до меня это уже сделал один мой приятель, когда Хандке был здесь, у нас, и пригласил несколько писателей на обед; во-вторых, потому что это было бы совсем не оригинально и не остроумно, и в-третьих, самое главное, потому что я считаю себя вежливым, впрочем, иногда неуклюжим и робким созданием. Признаюсь, хотя никто от меня не требует признаний: мне самому было бы неприятно, если бы какой-то неизвестный мне грубиян средних лет с трехдневной щетиной, по которой невозможно понять, неряшливость это или так, художественная небрежность, подошел бы ко мне в метро и спросил о чем-то подобном. Шансов, конечно, нет никаких, ведь в моем городе, из которого я давно ни на шаг, метро нет, а есть только катакомбы, да и потом, кто я такой, чтобы ко мне кто-то подходил: ведь я не Хандке, а там был Хандке, однажды в парижском метро.

Он вышел на «Шатле», а мы поехали дальше.

Но и в моем городе можно наткнуться на кого угодно, это большой город: в кварталах Нового Белграда можно заблудиться, и в узких извилистых улицах тоже, там, на окраинах, откуда видны поля, по которым бродит Агасфер, либо в лабиринте аэропорта, в который, может быть, прямо сейчас прибывает Ян Железный. Это еще кто, спросите вы. Знаете, тот парень, легкоатлет, копьеметатель, который играючи бросил копье через весь стадион, и из-за которого пришлось изменить конструкцию снаряда. Мало ли что: старым копьем он вполне мог попасть в какую-нибудь несчастную бабульку, возвращавшуюся от кардиолога мимо столпотворения людей и машин и не подозревающую,

что внутри, в утробе огромного строения, из которого доносится гул толпы, в этот самый момент проходит чемпионат мира по легкой атлетике.

Ух, действительно хорошо, когда тебя зовут не Яном. Расскажу, почему. Нет, не сейчас.

А знаете, кого я еще как-то раз видел? Правда, видел, честное слово. Мне было не больше десяти, когда в недавно открытом подземном переходе в центре моего города я увидел Никицу Маринович¹. Было солнечное весеннее воскресенье, праздный и любопытствующий народ толпился в переходе и глядел на новое чудо – блестящие витрины и рекламу, а мы, ребята с того берега реки, где кварталы росли на песке с такой скоростью, что всякое сравнение их с грибами после дождя было излишним, до одури катались на эскалаторе. Это было первоклассное развлечение: эскалатор везет тебя вверх, ты сбегаешь по двадцати пяти ступенькам в подземелье и, хоп, снова стоишь на движущейся вверх лестнице, ждешь скорейшего прибытия наверх, пробиваешься через тех, кто спокойно едет, наступаешь на них ботинками сорокового размера (ноги у меня уже и том возрасте были большими), игнорируешь замечания и периодические шлепки – хоп, хоп, хоп, давай снова, вверх, вниз, вверх, вниз... И так сто, двести раз, пока тебе не надоест и вся компания не устанет, потом вы идете на перекресток и смотрите, как регулировщик, весь в белом, балетными движениями рук направляет и перенаправляет

1 Никица Маринович (1947–2008) – югославская фотомодель, первая «Мисс Югославия» (1965), вице-мисс Мира (1966). В СМИ ее называли «Красавица Ники, дочь рыбака», по аналогии с героиней стихотворения А. Шеноа.

редкие автомобили. И имя у него было почти что Ян, только наша версия этого имени.

Вдруг время, если кто-нибудь из нас знает, что это такое, остановилось. Просто остановилось, не шелохнется.

На вершине эскалатора появилась она, Никица Маринович, прекраснейшая Мисс мира. Толпа на мгновение застыла, сейчас мне даже кажется, что от удивления остановился и эскалатор. Никого не волновало, всем было безразлично, что ей где-то там, бог знает где, присудили второе место. Она была самой красивой, точка. У меня и этому есть свидетели, вернее, были: со временем они, к сожалению, испарились, пропали, исчезли, разбежались, кто куда, или, что хуже всего, поумирали, хм, прибыли на конечную станцию своего собственного поезда. Красота завораживает, тут не о чем говорить. Она появилась, ступила на первую ступеньку, на спуск, и в пространстве вокруг нее воцарилась такая тишина, какой, полагаю, не бывает даже на том свете, впрочем, кто бы мог это знать. То есть, тех, кто знает, уже нет с нами, как и самой Никицы. Не спешите: в любом случае каждый из нас рано или поздно это узнает – поезд стучит колесами в ночи, гремит и острым глазом фонаря, словно ножом, рассекает безграничную тьму.

Вы слышите? Его протяжный свист?

Все стояли неподвижно и молча смотрели на нее, а она, красивее которой нет и никогда не будет, неся свою красоту так, как день несет ночь, спустилась в подземелье и потом исчезла. Годы спустя, будучи уже практически взрослым мужчиной, я шел в задумчивос-

ти по тому же городу, гоняясь за собственными мыслями, кидаясь то в одну, то в другую сторону и не замечая прохожих, которые в муравьиной спешке переносили свои гениальные идеи «экстра-сайз» (XXXXL) с места на место, желая, чтобы их кто-то выслушал, но такой, готовый выслушать, родился только однажды. Если вообще рождался. Большинство верит, что да. И вот я, занятый носками своих ботинок, сами знаете какого размера, потому что всегда хожу так, чтобы не наступать на края тротуарной плитки, никто не знает, зачем и почему, вдруг поднял взгляд. И встретился с теми самыми глазами, снова, на одну миллисекунду, как перед пробуждением в поезде, когда не можешь вспомнить, где ты, и почему тебе все знакомо. Я прошел мимо и, не оглядываясь, сынок¹, шаг или два спустя, выкопал из подсознания, из мертвого воспоминания ту давнюю сцену в подземном переходе, перед которым больше не стоит человек, которого зовут Ян. Та же походка, то же самое лицо, на которое упала вечерняя тень, в прямом и переносном смысле.

И, да, глаза, те же глаза.

Взгляд не стареет, говорила моя бабушка с материнской стороны, моя кормилица – у нее и в девяносто лет были ошеломляющие глаза шестнадцатилетней девочки.

Ладно, сел я, наконец, в тот поезд. Было это, как я сказал, давно, но я буду рассказывать так, будто это случилось только что: когда мы думаем о чем-то – оно

1 «Не оглядывайся, сынок» – югославский кинофильм (1956), реж. Бранко Бауэр (1921–2002), по мотивам одноименного романа для детей и юношества Арсена Диклича (1922–1955).

здесь, «сейчас» – это всегда *сейчас*, если вы понимаете, что я хочу сказать. Если не понимаете – ничего страшного, это не единственная недосказанность, на свете и без нее полно недосказанностей, а поезд, с тех пор как придумали паровоз, и рельсы сетью опутали мир, стал передвижным складом недосказанных историй: о любви, о кражах и убийствах, об изгнании и бегстве, о скитаниях и блужданиях, о встречах и исповедях, о знакомствах и узнавании, об отъездах на похороны, на войну, на семейные праздники, в гости к родственникам и так далее, и так далее.

Заходишь в поезд – история тут как тут.

Вот она.

Это было – я знаю, что повторяюсь – долгое путешествие, на другой конец континента, в холодные, влажные, бессолнечные края. Мне посчастливилось купить билет в спальный вагон, мужской дубль, но, придя на вокзал, я узнал, что спальный вагон первого класса, в котором я забронировал место, по причине аварии исключен из состава, а пассажиры распределены по другим вагонам. Мне досталось четырехместное купе, я ехал с тремя молодыми женщинами. Вначале, пока проводник-кондуктор объяснял пассажиркам, что происходит, и вносил мой багаж, нам всем было неловко. Но, ничего не поделаешь, как-нибудь ужмемся и перетерпим эту неприятность, десять-двенадцать часов вдыхания одного и того же воздуха можно пережить.

Мне досталась нижняя полка справа от двери. Я попросил своих спутниц обращать на меня как можно меньше внимания, знал, что причинил им неудобства, и, если потребуется, намерен свести их к миниму-

му, как-нибудь это устроить. Подразумевалось, что я выйду в коридор, когда они будут готовиться ко сну и переодеваться, а если я слишком тревожу их покой, то могу до темноты совсем уйти, сесть в вагоне-ресторане. «Нет-нет, – сказали две из них. – Вы нам совсем не мешаете, напротив, располагайтесь», – а третья молчала и неопределенно улыбалась: я намеренно не говорю «загадочно», так как рассказ сразу бы свернул в другую сторону, – где загадка, тут и отгадка, хотя, что такое отгадка по сравнению с загадкой – чуть более, чем ничего – здесь же ни о какой загадке и речи не идет. Молодая женщина усмехалась неопределенно, так как не знала нашего языка, умела произнести лишь пару фраз, и мы перешли на эсперанто белых людей: *хау, йес, ноу*. Оказалось, что ее парень играет в одном из наших баскетбольных клубов, не скажу, в каком, иначе сразу потеряю половину читателей, она каждые два месяца приезжает его навестить, а сейчас возвращается в свой город. Она покинет нас в Вене, где у нее утром пересадка.

Одна из двух других женщин, получив иммиграционные документы, ехала в Канаду. «Как – в Канаду? – спросил я, мне показалось, что я не расслышал. – Как, в Канаду, и на поезде?» «Очень просто. А что мне делать, я боюсь самолета, как гадюки», – так она ответила, и это действительно была блестящая метафора, настоящая неожиданная метафора; хорошо, между страхом и змеей есть какая-то ассоциативная связь, но между самолетом и змеей, пусть даже летучей – нет совершенно никакой связи, но страх есть страх, а метафора есть метафора, я расстроился, что сам не придумал

мал ничего подобного, хотя метафорами я зарабатываю себе на жизнь. Метафорически так можно выразиться, но жизнь – не метафора, жизнь несравнима ни с чем, а вся шутка в том, что мне следовало бы перестать плакать, как я плачу всю свою жизнь – беззвучно плачу обо всем, чего у меня никогда не будет – надо ли уточнять – я имею в виду любовь. Этот дождь шелестит во мне совсем не метафорически, и ему не нужна жестяная крыша.

Но бог с ним, это совсем другая история. А может, и нет. Вы сами увидите и решите. Я не знаю, не уверен, как и тогда с Грабалом.

«Ха, – сказал я. – Здорово, а потом что?» «Да ничего, – ответила она. – До океана доеду на поезде, сяду на корабль, я все устроила: там, в Канаде, меня ждут. Хватит с меня этих факультетских мучений, я столько училась, что выучила все, а что с этим делать – понятия не имею; никому не нужна история балета, никому нет дела до того, что у меня была дислексия, и я с ней справилась», – и так далее, и так далее, долгая история; во время поездки люди неизбежно попадают под власть желания рассказать какому-нибудь незнакомцу всю свою жизнь от начала до конца.

Я не исключение, с какой стати?

Вторая ехала в гости к сестре-близнецу в Прагу; сестра уехала туда, чтобы укрыться от бомбардировок – помните эти глупости – да, глупость-то она глупость, но что, если глупость становится ужасна, кому-то просто хочется убежать от этой глупости и от этого ужаса, от этой ужасной глупости. А кто-то, видите, остается. Эта ее сестра уехала подальше, до тех пор,

пока не иссякнет небесное милосердие¹, по крайней мере, так она поначалу думала, у нее была какая-то знакомая чешка с летнего отдыха в Чане, они годами переписывались, а когда все началось, и писатель Гавел поспешил присоединиться к этой глупости, а лучше сказать, к ужасу, эта самая знакомая пригласила ее сестру. Между тем, оказалось, что у этой знакомой есть брат, его – я не шучу, провалиться мне на этом месте, – звали Ян, и можете себе представить, что было дальше. Сестра взялась за первую же предложенную ей работу, с мыслью о том, что вернется как только смолкнут сирены и она немного подзаработает, но осталась навсегда: Ян и вся эта история – свадьба, развод, опять свадьба – я не очень разобрался во всех переплетениях; моя попутчица ехала для того, чтобы после стольких лет навестить сестру-близнеца, чтобы они расцеловали друг друга, выплакались и подумали, что им делать с их собственными жизнями дальше...

«А вы, куда вы едете?» – спросили они.

Совершенно естественный вопрос.

Я мог придумать какую-нибудь сказку, но зачем. И я рассказал им всю правду, чтобы потом не вспоминать, что я им наговорил. Вранье, знаете ли, быстро забывается. При этом интересно, и это трудно объяснить, но ложь скорее оправдывает тот, кто солгал, чем тот, кого надули. Не надули, как шар, а обманули; впрочем, может быть и то, и другое: бывают маленькие, легкие обманы, а бывают тяжелые, раздутые. Так сказать, об-

1 «Милосердный ангел» – ошибочное, но распространенное название военной операции НАТО, в ходе которой в 1999 г. осуществлялись бомбардировки Белграда.

манища. Я ехал, чтобы проститься со своим настоящим отцом, я имею в виду – биологическим отцом; вы уже, полагаю, наслушались таких историй, может быть, читали что-то подобное. Я рос в образцовой семье, окруженный любовью, как вдруг, в зрелом возрасте, когда наездился столько, что уже сам не знал, где побывал и жил, мне открылась правда, что мой настоящий отец на самом деле мне не отец, а мой биологический отец – какой-то незнакомый мужчина, который взрослую и зрелую части своей жизни прожил в другой стране. Каким-то образом я узнал об этом, не буду вас этим утомлять, важно, что спустя много лет я отправился на встречу с ним, это была непередаваемая или почти непередаваемая встреча, определенно тяжелая, как раздутый обман. Затем дьявол снова взял меня под свое крыло, прошло еще несколько лет, я похоронил своих единственных родителей, настоящего отца и настоящую мать, и, когда все это закончилось, и трава вновь начала расти, голубая трава забвения¹, мне каким-то образом сообщили, что мой отец, хм, если так можно выразиться, прощается с жизнью, и что в моменты редкого просветления старческого сознания пожелал еще раз меня увидеть и со мной проститься.

Пускай. Я ничего не почувствовал, не буду апеллировать к Мерсо², чтобы вам это объяснить, я просто ничего не почувствовал, но все равно купил билет и сел в поезд. Хотя мне уже выше крыши всяких путе-

1 «Голубая трава забвения» – югославская, хорватская кантри-рок группа, основана в 1982 г.

2 Герой романа А. Камю «Посторонний».

шествий, с целью и без цели – как будто это важно. Так я встретил трех моих граций: первую, боящуюся самолета, как змеи, вторую, что из всего баскетбола любит только баскетболистов, и третью, что будет ездить в пражском метро, и это прекрасно, но пана Грабала она не встретит – он накормил своих голубей и вскоре затем сам взмахнул руками.

М-да, интересное было путешествие. Они разделись и легли, каждая на свое место, мне оставили нижнюю правую полку, и когда одна из них позвала меня войти и подготовиться ко сну, в купе уже горел тот голубоватый свет, от которого лица уснувших пассажиров становятся похожими на посмертные маски. Я присел на свою узенькую постель, снял джемпер и брюки, а снимая ботинки, почувствовал что-то не то и спросил у своей попутчицы, занимавшей место напротив моего, – я видел, что она еще не спит – нет ли у нее каких-нибудь духов. «Есть, – ответила она. – Но зачем вам духи?» «Увидите, – сказал я. – Дайте мне их на минутку». Она приподнялась, в голубом полумраке на мгновение высветилось ее обнаженное плечо с узкой бретелькой, это была довольно эротичная миллисекунда, *сейчас* в его истинной форме, все женщины прекрасны в полумраке, это сказал тот крупный писатель, но не Гавел, не Грабал, не Иэн Макьюэн и не Анна Гавальда, у которой есть рассказ о каком-то Яне. Бодრствующая чародейка взяла сумку, немного покопалась в ней, как они это обычно делают, и протянула мне искомый флакончик. Я опрыскал пальцы ног и вернул ей духи, молча, мне показалось, что она улыбалась, пока наблюдала, чем я занимаюсь. После этого каждый

из нас повернулся лицом к своей стенке купе поезда, который, гляди-ка, как змея, шипел в ночи.

И в моем ухе.

Я не сомкнул глаз. Не знаю, о чем я только ни думал: в поезде вас посещают мысли, приходящие неизвестно откуда, и вы не можете с ними совладать. Все, господи прости, караконджулы и санджамы¹, все глупости и все ужасы, все глобальные и черные идеи, великие идеи, одна за другой. Одна идиотская, вторая гениальная. Только не понятно, какая первая, а какая вторая.

Утром мы распрощались: кто-то вышел на промежуточной станции, кто-то сделал пересадку. А на меня навалилась тоска – от всего, а более всего от того, как устроен мир – по прибытии в тот германский город с низким небом и серым светом, затемненный, как если бы в нем ожидалась бомбардировка (и в нем это случалось, понятно, что где город – там и бомбардировка, немного терпения, рано или поздно до каждого дойдет очередь), его название не важно, важно, что издалека доносился влажный, отдающий плесенью, запах невидимого океана. Оттуда можно отправиться на корабле, куда захотите, в том числе, в Канаду.

Я сообщил вам достаточно, больше ничего не скажу.

Он уехал еще до моего рождения. И так до своей старости, а моей зрелости, не давал о себе знать. Если как следует подумать, зачем бы ему вообще давать о себе знать, ведь между ним и моей матерью не было никакой любви, да и какая там любовь, это было сплош-

1 Демонические персонажи балканской мифологии.

ное недоразумение. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как я мог родиться по недоразумению, что я побочный продукт какого-то недоразумения, которое разрешилось одним-единственным половым актом. Тогда и больше никогда. Какая случайность, а? В общем, его и след простыл, я стал мальчуганом, тем, что сбегает по эскалатору, всегда вниз, потом юношей, затем взрослым мужчиной, все это время меня окружала подлинная забота моей матери и моего настоящего отца, так что в своем фактическом отце я не нуждался. Какого бы черта я в нем нуждался, если я о нем даже не знал, так как у меня просто не было ни случая, ни причины с ним знакомиться; вот видите, какая ужасно глупая штука эти причины – как бомбардировки; да какие там причины: важно только, любят ли тебя или нет, бомбят тебя или нет.

И точка.

Да, вот еще что. Я вырослел в сопротивлении чему-то неизвестному, безымянному, не подозревая, что это может быть, я тащил за собой все это безгласное отчаяние, которое старше меня, это недоразумение, тяжелое, как полный вагон невидимого сыпучего груза, как сумка с медицинской документацией, постоянно ощущая свою неполноту и частичность, инстинктивно придумывая этого отсутствующего отца, пока сам для себя не стал им, я сам себе бог-отец, и нет у меня других бого-отцов, кроме себя...

Прошли годы, годы, годы и еще годы, и однажды, – я уже говорил об этом – я получил известие о том, что такой-то находится в доме престарелых под низким северным небом и просит передать, что, прежде чем

навсегда взойдет на борт и отправится в неизвестном направлении, он хотел бы еще раз меня увидеть. Я, разумеется, поехал: сел в поезд, мне это ничего не стоило, если не считать смешных денег за билет, встретил трех граций и, что меня особенно поразило...

... я ничего не почувствовал, когда его увидел. Все во мне выгорело без остатка – ничего, совсем ничего. Он сидел в инвалидном кресле в большом саду дома престарелых, под слабым солнцем, не способным согреть постоянный холод его костей, тень тени, почти прозрачный, тонкие волосики, как у младенца, и увядшая кожа на трясущихся руках, испещренных синими венами. Старшая медсестра подвела меня, наклонилась к нему, сказала, кто я, и удалилась.

Мы долго смотрели друг на друга, молча, в тишине.

Издалека было слышно птиц, я думаю, это были дрозды. Большие каштаны с раскидистыми кронами стояли зеленой стеной, отделяя этот остров умирания от автобана и железной дороги, по которой бесшумно скользили образцовые гиперборейские поезда. Потом слабым, едва различимым голосом, в полузабытьи, он сказал мне:

– Ян, как хорошо, что ты приехал. Спасибо тебе. Я так хотел тебя увидеть.

Загвоздка в том, понимаете ли, что меня зовут совсем не Ян. Мое имя даже приблизительно не похоже на имя, какое носил регулировщик из моей юности, даже если вы случайно дадите мне это прозвище. Сейчас не важно, как меня зовут, важно, что меня зовут не так, как назвал меня он. Ничего похожего.

Я молчал.

А он хотел поговорить, было видно, хотя сил у него на это не было. Он отключался, у него случались провалы. Секунду он глядел на меня отсутствующим взглядом, секунду – совершенно ясным и отчетливым, единственным зрячим глазом: второй застилала катаракта.

Да, взгляд не стареет. Или, если стареет, то в последнюю очередь, когда всему остальному хана.

– Сынок, – сказал он, переведя дух, и когда он сказал «сынок», я подумал, что минуту назад он произнес то же самое, мне просто показалось, что он сказал «Ян»; ну да, мой обычный сумбур, от волнения или равнодушия, кто знает...

– Ян, – все же он сказал «Ян», тысяча чертей, он или перепутал, или не знает, или забыл, как меня зовут, совсем. – Сынок, – опять говорит «сынок»! – Какой ты красивый, как я когда-то, как ты похож на меня.

Я ни капли не был похож на него. Честное слово, не был. Впрочем, может и был, откуда мне знать, как он выглядел в моем возрасте: старость разрушает нас, делает другими, на поверхность всплывают все наши немощи и пакости, вся наша злая, густая желчь, вся наша горечь из-за того, что после нас кто-то продолжает жить. И, конечно, вся наша детская беспомощность на пути от пеленок к пеленкам, от подгузников до непромокаемых простыней на кроватях для парализованных.

– Теперь я могу спокойно умереть, – произнес он.

Послышалось пение дрозда, где-то здесь, в саду. Красиво поет эта черная птица. Красиво, нечего сказать.

Я смотрел на человека, который мог быть моим отцом. Я рассматривал его с известным интересом, сухими глазами, потому что плачу внутренне, я погружался в это изношенное человеческое существо, достигшее конца: его поезд прибывал на конечную станцию. Он тоже смотрел на меня, потом вздохнул; я слышал его слабое дыхание и больше ничего, думаю, что не преувеличу, если скажу, что мне показалось, как его ноздри и зрачки слегка расширились, а в углу того больного глаза заискрилась слеза, но нет, ничего такого не было, тонкая пелена катаракты закрывала белок; тот другой, здоровый, жмурился, готовый в любой момент угаснуть. Я погладил его по голове – мне показалось, что я глажу ребенка – он поднял руку и на мгновение дотронулся до моей ладони, и это был единственный случай нашей близости.

Я повернулся и пошел. Он остался сидеть в коляске, на слабом солнце. Не оглядываясь, сынок, говорил я себе, и не оглянувшись – сразу оттуда я пошел на какую-то дурацкую выставку аквариумных рыбок, нырнул в толпу, слился с детьми и фанатиками и весь день провёл среди аквариумов, насмотрелся на гамбузий, пираний, чистильщиков, скалярий и гуппи – я знал только их. Вечером сел в поезд и спустя тридцать шесть часов, не замечая никого, обожженный одиночеством, прибыл в свой город. Я снова здесь, где я есть, мне больше не хочется никуда ездить, я коротаю свое сейчас, плюс «сейчас» и *сейчас*.

Короче говоря, хорошо, когда тебя зовут не Ян.

Кто я для себя

Где уже, наконец, этот Зекич?!

Нет его, нет и нет. А когда идешь на рыбалку, каждая минута – как целый год. Мы договорились встретиться в полпятого, я всю ночь почти не спал, каждую минуту просыпался и смотрел на часы. В четыре был уже на ногах. Проводить меня было некому. Я оделся, вышел из своего новобелградского небоскреба, завел машину, переехал мост, проехал через практически пустой город, и в четверть пятого, в бледных проблесках утра, мешавшихся с уличным освещением, припарковался на договоренном месте, рядом с оградой Нового кладбища. Там покоились отец и мать, каждый на своем краю, далекие и в смерти. Я всегда думаю о них, когда тут останавливаюсь, из какого недоразумения я появился на свет, из какой иллюзии любви.

Когда речь идет о рыбалке с Зекичем, то я всегда соблюдаю договоренность и, более того, регулярно приезжаю заранее, на всякий случай. Это глупо, может ли быть что-то глупее ожидания, что семидесятилетний старик изменит своим привычкам. И сейчас снова, в 369-й раз, я жду не меньше получаса, а он, по своему обыкновению, все не приходит. Иногда задаюсь вопросом, что бы произошло, если бы, не дай бог, опоздал я, но это просто-напросто невозможно. Во-пер-

вых, я не такой, не приучен опаздывать. Точнее, меня некому было научить. А во-вторых, как бы я ни опаздывал, Зекич безошибочно появлялся – немного позже меня, с неизбежно-невероятной отговоркой. Вскоре начнется утренний транспортный поток, и меньше чем через полчаса все выезды из города будут закупорены. В любом случае, мне ничего не остается, как ждать, потому что есть два вида рыбалки: с Зекичем и без Зекича.

Всю неделю я представляю себе это утро, а сейчас в машине томлюсь ожиданием и наблюдаю, как мусоровозы наполняют свои утробы. За ними следуют ночные патрули, поливальщики улиц и запоздалые пьяницы; не помню, сколько лет назад, мы со школьной компанией, отмечая выпускной, выворачивали желудки в фонтан на городской площади. Затем наступила жизнь: студенчество, влюбленности, армия, работа, аборт, свадьбы, заселения, переезды, рождение детей, измены, разводы, регулярные похороны и преждевременные смерти – хотя, *хм*, смерти никогда не опаздывают, – отъезды за границу, возвращения из-за границы, адаптация, алименты, демонстрации, войны, режимы, пропущенные отпуска, распитие пива...

Если подумать, единственное, что в моей жизни не изменилось, это Зекич, старый, неистребимый Зекич, гроссмейстер всех видов рыбалки. Во мне живет каждая его фраза. Он научил меня, что ожидание над поверхностью воды – это, в сущности, не ожидание, а нечто совершенно иное, нечто, чему нет названия. Все остальное не стоит ожидания, за исключением Зекича. Единственный, кого я, безусловно и всегда, готов ждать, – это он, и никто другой. Только он, единствен-

ный и неповторимый. Да, я всегда его жду, хотя никогда не понимал, является ли это его опоздание приобретенным недостатком, специальным способом поважничать или признаком врожденного аристократизма. Зекич, если вы не знали, аристократичен, как советник королевы. А может, все дело в том особом наслаждении откладывать то, что неминуемо произойдет и о чем мы жалуем, ведь оно закончится, еще даже не успев начаться.

К примеру, рыбалка.

Не спрашивайте меня, что такое рыбалка, я вам все расскажу сам. Рыбалка – это, бесспорно, единственное состояние, которое, как мне хотелось бы, длилось бы и никогда не заканчивалось, единственное мгновение в моей «веселой» жизни, когда у меня ничего не болит, когда во мне нет ни единой тяжелой или злой мысли, мгновение, когда нет скуки и когда ожидание это не ожидание, а нечто совершенно иное, нечто, чему нет названия. Чем бы я ни занимался, это мгновение неким образом постоянно во мне, и я не перестаю его желать; в мыслях своих я все время где-то на Дунае или еще где-нибудь, сижу и смотрю на воду, вот так. Если есть рай, он должен быть похож на дельту Дуная. Там, на дельте, день имеет совершенно иную форму, каждое утро заря занимается святая, чистая, без боли. Далее, человек может вдосталь наговориться сам с собой. И с облаками, конечно, – медленно движутся облака. Потом, вода. Куда ни кинешь взгляд, море камыша, и волны – повсюду вокруг. Чистые стихии: вода, камыш, небо и я – «мыслящий тростник». Воздух и ветер. День как некое приглушенное, остановившееся,

онемевшее время, и ничто в нем не нарушает спокойствия. Проплывающее облако – уже событие, весть первого порядка, немая оратория, вся из серых, грязно-белых и бледно-голубых тонов. Да, так, наверное, было в Начале, в первый день Творения, еще до инопланетян и до землян. Молчишь и не думаешь ни о чем. Незамутненное существование, чистая пульсация, согласие с собой, с миром, с рыбой – самым бессловесным существом, на грани сознания, из праутробы, из воды.

Зекич меня этому научил.

Точнее, Зекич и мой отец, мой так называемый отец. Он умер, этот мой так называемый отец, все просто – был на этом равнодушном свете, чем-то занимался, о чем-то думал, обо мне – нет. Я предполагаю, что нет. Или, если и да, то не особо при этом надрывался, а сейчас его больше нет, как однажды и нас здесь больше не будет. Но пока мы есть, пока мы еще здесь, мы будем ходить на рыбалку, что же еще, когда можем и когда не можем. Итак, отец присоединился к падшим ангелам, а у меня остался Зекич, его ровесник, я бы мог сказать, в некотором смысле даже и мой второй отец, с которым я научился читать воду и молчать. Это бодрый старец, скоро ему стукнет семьдесят, и он еще не сдастся...

Вот и он, наконец-то появился, как добрый дух, с огромным мешком на спине, тащит древние удочки, не оглядывается, когда переходит дорогу, Бог его хранит. Я знаю: первое, что от него услышу – какое-нибудь наивное, наспех сочиненное оправдание. Он неизбежно опаздывает и всегда придумывает новую отговорку, я могу составить каталог этих его оправданий. Начиная с совершенно обычных, как, например, сломался лифт,

забыл очки, вязал крючки на удочки, автобус сбежал из-под носа, и прочая чушь, и до самых эксцентричных: всю ночь в его комнате по выключенному телевизору перешептывались инопланетяне, он выбирал, пойти ли на прием во дворец или на рыбалку, но все-таки, в последнюю минуту сделал лучший выбор. Он не любит протокол, старые, разношенные сапоги ему дороже самых лучших туфель, надетых всего несколько раз в жизни (он их называет «похоронные»), и поэтому идеальную церемониальную ковровую дорожку с десятью тысячами узелков на квадратный дециметр он с удовольствием меняет на грязь и камыш какой-нибудь заводи, в которой еще водится линь...

Ах, линь, если бы вы знали, что это за рыба: неповоротливый, изысканный аристократ, с длиннющей родословной и весьма утонченным потомством... Когда щука, чудище, порождение Божьего сна, доказательство того, что абсолютное зло существует как основной принцип, на котором зиждется мир, когда, стало быть, щука получает какую-нибудь рану, – ведь и злодей знает, что такое боль, – она прижимается к тихому, молчаливому линю, чья кожа слизиста и нежна, словно стенка матки, и он ее, щуку, вопреки всему, всей ее греховности, вылечивает. Поэтому линь – единственная рыба, на которую щука не нападает. Ведь если бы она это делала, исчезла бы последняя причина, почему мы здесь; да, да, и моя боль имеет причину, просто я никак не могу о ней дознаться, то есть, что я хочу сказать: я обдумал все причины, но ни одна не является достаточно приемлемой и убедительной. Вопреки обоснованности, боль и дальше существует, похоже, что мне

больно от самого себя, я – причина моей собственной боли, только так, только доказательство, что я есть. Ведь если бы не было боли, не было бы и меня. Бывает ли хоть одно мгновение в жизни смертного существа – шуки, линия, меня – без боли, и если это так, а так оно и есть, кто я для себя, если не боль? Сам своя боль. И нет того линия, который мог бы меня излечить.

– Э, Зекич, Зекич, – говорю я вместо приветствия, выбираясь из машины, чтобы принять его снаряжение. Едва удастся запихнуть мешок в багажник, но удочки слишком длинные, и я их просовываю в окно, они не складные и сделаны примерно в тот год, когда Хрущев стучал своим ботинком, тоже похоронным, – это вещи без сносу. Зекич все время молчит, отказывается признать свою вину. Утро уже совсем занялось, и вскоре на окрестных домах начнет гаснуть реклама, и некий незримый всемогущий перст одним нажатием кнопки потушит все уличные фонари, оживит огромный муравейник. Мне иногда кажется, что Бог, проходя по ровной плоскости Земли – ведь то, что Земля круглая, придумали инопланетяне, чтобы у них было, вокруг чего кружить, – итак, иногда мне действительно кажется, что Бог, в сапогах по семьдесят миль, идет от города к городу, как какой-нибудь искатель приключений в саванне, идет от муравейника к муравейнику. Я не хочу спорить с Зекичем, круглая Земля или нет, наверняка существует кто-то, кто знает лучше нас. Меня гораздо больше занимает, что он скажет, в каком направлении мы сегодня едем. Он садится в машину, хлопает дверью, сопит, нельзя сказать, что он в хорошем настроении, как будто бы он плохо спал, а может,

потихоньку ворожит, обуздывая эйфорию, потому что день, как я вижу, будет совершенным, серый, как это часто бывает поздним летом, все время будет собираться дождь, но не соберется, и без прямого солнечного света; облако протянулось и легло на воду, это самая лучшая погода для судака.

Зекич наконец-то отзывается, немного по-старчески грустно, впрочем, он всегда любой произнесенной фразе придает особую важность, даже если это обычное приветствие:

– Эх, Аркадий, был бы жив твой отец... м-да, он бы порадовался этому утру.

Я ничего не отвечаю, мне нечего сказать. Мысли мои где-то в другом месте, всю минувшую неделю я был каким-то расклеившимся. Анна ушла, и кажется, навсегда. Вернувшись в прошлый понедельник поздно вечером из города, я обнаружил на столе остывший ужин. Никаких записок не было, но я понял, что наш короткий двухлетний роман на этом закончен, на остывшем ужине, и что исцелить меня может только хорошая рыбалка. Романы, да и вообще, – обычно заканчиваются остывшим ужином, в моем случае это убранный стол пустым воскресным вечером. Я не хотел спускаться вниз на четыре этажа, конец – это конец. Я старался, сколько мог, но мой бог, не шло у нас, и точка. Сначала я спрашивал себя, может, всему виной недостаток любви? Но нет. Этого нам, с первой минуты, когда я ее через, не знаю, сколько лет снова увидел, было в достатке. Но просто так, по какой-то беспричинной причине не шло, да и зачем, какого черта, нам надо все объяснять, словно объяснения в конце могут

что-то существенно изменить. Жизненные истории, без разницы, рассказы ли это «из жизни», романы или драмы, идут так, как они хотят идти, и мы здесь не можем что-то особо изменить.

Слушайте, я вам сообщу неутешительную новость, и буду это делать, пока вы ее полностью не осознаете: мы беспомощны, мы отдаемся инерции, люди не перестают нас ранить.

Нас угнетает мир. Как невыносимый зуд. А зуд, как говорится, это тихая боль.

И тогда пусть вертится, как вертится. Мы наблюдатели, хотя должны быть участниками. Так, по большей части, на этот раз было и с Анной, и со мной.

И пока неторопливо, останавливаясь, как назло, на каждом светофоре, мы продвигаемся по утренним улицам к окраине, мой Зекич и я, как будто только в тот момент я понял, что пора расслабиться, что не надо слишком много думать, потому что если бы и было по-другому, то не могло бы быть лучше, никому до сих пор не удавалось полностью управлять своими мыслями, никому, так почему же я должен стать исключением. Буду сидеть над водой и ни о чем не думать. Рыбалка – лучший выход, пусть эта моя туча с Анной растает, развеется, и тогда в какой-то момент кто-то неизвестный внутри меня расскажет, точнее, шепнет, как через выключенный телевизор, почему все шло, как шло, слева направо, а не справа налево. И все равно, как бы то ни было, мягкость кожи на шее Анны опережала любую мысль, и если бы я хотел быть абсолютно точным, я бы сказал, что кроме этого мне больше ничего и не было нужно, никогда.

А вот с отцом все было гораздо проще. Настолько просто, что тут и сказать особо нечего. Слабым утешением мне служит то, что там, где нечего сказать, слишком много истории, *м-да*, может, и целый длинный и душный роман. Однажды утром, кажется, мне было десять или одиннадцать лет, отец вышел за сигаретами. В то время с табаком были перебои, поэтому поход затянулся: от киоска до универсама, от заправки до бакалеи, от железнодорожной станции до блошиного рынка, прошло не менее пяти лет, прежде чем я его снова увидел. И то не потому, что я чего-то такого пожелал, нет, я вообще по нему не скучал, его и так никогда не было дома, а когда и бывал, то, в основном, молчал. Мне кажется, что и сам-то он не особо горел желанием увидеться со мной после такого «перекура». За это время я окончил среднюю школу, а мир получил нового чемпиона по футболу. Эдсон¹, легенда! Как бы то ни было, однажды он появился в дверях, как будто вышел десять минут назад, и протянул мне удочку. Вот, – сказал он, – собирайся, завтра идем на рыбалку, с Зекичем.

Я понятия не имел, кто такой Зекич, единственное, эта фамилия показалась на слух смешной, я всегда любил смешные фамилии, люди с такими фамилиями мне как-то заранее симпатичны. В моем подъезде в Новом Белграде с примерно ста квартирами было полно смешных фамилий, не затертый Пантич, и не обыденный Петрович, и не куцый Бабич, – это все так обычно

1 Эдсон Арантис ду Насименту (р. 1940) – легендарный бразильский футболист, по прозвищу Пеле, Король футбола.

и настолько ничего не сулит; но Колибабич, Кркобабич, Зеленбабич, Хаджибабич, Тресибабич, Мучибабич, Мочибабич, Баба-ягич или Карабабич – это так возбуждает воображение: одна необыденная фамилия – и готов целый рассказ. «Зекич» звучало как-то хитро-вывернуто, как герой мультика, как друг внегалактических существ, как кто-то, кто может со сложным парашютом прыгнуть с крыши моего дома, встать, отряхнуться и произнести что-то, врезающееся в память. О рыбалке я знал немного, разве что иногда по телевизору, пока его не оккупировали инопланетяне, смотрел, как где-то, на каком-то северном озере ловят рыбу, и, должен вам сказать, мне нравилось, но никогда не приходило в голову самому попробовать нечто в таком роде. Сказать по правде, у меня и не было никого, кто мог бы мне это предложить или отвести меня на реку, мачеха убивалась на работе. Мы жили на двенадцатом этаже новобелградского небоскреба, Дуная из окна не было видно. Никто к нам не приходил, мы никуда не выходили, разве что иногда в кино, посмотреть полнометражные мультики про котов-аристократов, про Пиноккио, про необычных внегалактических существ с антеннами вместо ушей.

А когда отец ушел, если это вообще был мой отец, а не кто-то, кому суд определил быть им, я не придавал никакого значения ругани мачехи. Во-первых, я не особенно понимал ее смысл; во-вторых, я оценил полученный подарок. Он был дешевым, но для меня царским, думаю, это был первый подарок, когда-либо от кого-либо мною полученный. И в-третьих, самое важное, меня очень интересовало, как выглядит этот Зекич, добрый

дух с занятой фамилией. Сегодня я понимаю, что самое лучшее, что мне досталось от отца, это именно он, неповторимый Зекич, маг рыбалки, волшебник, знающий, на что он тратит каждую секунду своей земной жизни, и никогда об этом не пожалевший. Сидеть целый день у реки, уставившись в воду, и наблюдать, как солнце еле-еле завершает свою работу, деревья шепчутся, а рыба дремлет в омуте, – есть ли что-то разумнее под сводом небесным.

Готов поклясться, что нет.

Да вы спросите Зекича.

Зекич, разумеется, молчит. Смотрит в окно, размышляет, что-то про себя просчитывает. Где мы только за эти тридцать лет не были, мой совершенно непредвиденный папа Зекич и я, Аркадий. Зекич меня так называет, понятия не имею, откуда он взял это имя. Готов поклясться, что вам уже давно кажется, что я несу полный бред, придумываю всякую всячину. Ладно, еще отец, Анна, даже рыбалка, но к чему Зекич, к чему инопланетяне, к чему Аркадий, что за конфабуляция¹? На подобные вопросы я не отвечаю, я спокоен, как водная гладь июльским утром далеко, на краю света. Даже если бы Зекич и не существовал, хотя этого я не могу себе представить, но, скажем, он не существует, я бы его выдумал, он мне необходим. И если вы и дальше не верите, что он существует, ладно, признаюсь, чтобы вам стало легче, я его выдумал. Вот просто взял и выдумал. Все самое лучшее в своей жизни я должен был выдумать, и не потому, что мне это было необхо-

1 Ложные воспоминания.

димо, а потому что без этого моя жизнь была бы менее радостной и более бессмысленной. Зекич – моя самая лучшая выдумка, и я полагаю, и я – его выдумка, правда, может, и не самая лучшая (ты только послушай, Аркадий!), но, в любом случае, сносная. Если бы его не было, что, повторюсь, я никак не смог бы вынести, не с кем мне было бы ходить на рыбалку, и что бы тогда, какого черта я делал со своей собственной жизнью, полной бессмысленных уходов, бессмысленнее которых (поправьте меня, если ошибаюсь) могут быть только возвращения. Скорее всего, я, как и другие, откупорил бы пиво, включил телевизор и устался в то, что когда-то называлось футболом.

После Гарринчи все это курам на смех.

Зекич – решение всех моих сомнений, гуру, у которого есть ответ на любой вопрос. Меня вообще не волнует, что он редко и мало говорит, да и я никуда не тороплюсь. Это все чистые, невысказанные мысли, моя постоянная попытка направить их туда, куда я хочу, помешать им идти туда, куда хотят они, отделаться от того, что меня мучит и что является постоянным источником боли. Да, мысли всегда летят туда, куда они хотят, и безошибочно возвращаются к боли. Когда бы я о чем-то тяжелом ни подумал, появляется боль, боль никогда не прекращается, а когда она таится, то всегда готова вернуться, отозваться даже на самый крошечный сигнал, скрывающийся где-то в глубинах памяти. Боль, если мне позволено зайти так далеко, всегда заполняет пустующее место несуществующей любви, где, если бы мир вращался справа налево, а не слева направо, должна была бы находиться Анна, или отец,

или слишком рано умершая мать, или еще кто-нибудь, не знаю, кто. Правда, не знаю. Но раз их нет, здесь мой волшебный Зекич, старец, с которым равнодушный мир становится более сносным.

Более-менее выносимым.

Кто там сказал: если у тебя нет отца, ты должен сам его создать, должен, в конце концов, сам себе стать отцом.

Хорошо, это мне ясно, этому я научился, прошел через это. Но Анна? Как быть с ней?

Вот, слушайте.

Когда-то давно Анна была девочкой из моего новобелградского небоскреба, на двенадцать лет младше меня. Я видел, как из ребенка она превращается в девочку, из девочки высвобождается девушка, а девушка становится молодой женщиной, и когда бы я о ней ни подумал, всегда в памяти всплывает то волшебное остановившееся мгновение, то застывшее колебание в этих переходах: в каждой девочке, это сказали еще древние римляне, есть что-то скрытое и неразвитое женское, в каждой женщине, если она настоящая женщина, таится нечто незавершенное детское: в движениях, голосе, волосах, изгибах, в коже, в поведении. У Анны это было гораздо более выражено, чем в других, но я воспринимал это, как нечто совершенно обычное, нечто настолько привычное, что стало неприметным, и я на нее не обращал особого внимания. Она мне нравилась, но не более. А затем однажды она исчезла, ушла за своей историей, и только тогда, когда она выпала из моего поля зрения, я заметил, что мне чего-то не хватает. Ее отсутствие длилось годами, и все это

время я ходил с Зекичем на рыбалку, остальное не стоит и упоминания: диктатуры, диктаторы, демократии... Затем вдруг она появилась, и, несмотря на то, что прошла целая жизнь, я увидел ее такой же, как и неведомо сколько лет назад, почти не изменившейся, улыбчивой и, почему бы и нет, желанной девочкой, без следов времени, без усилий выглядеть моложе, без выводящего из себя кокетства отцветших женщин, у которых одна-единственная мысль: они все еще такие же привлекательные, как и миллион лет назад.

Нет. Точка.

Анна вернулась в наш дом, дом наших покойных родителей, и мы снова, после всех безумств, разводов, переездов, бомбежек и все более и более слабых и глупых мировых чемпионатов по футболу, сталкиваясь ежедневно, разговаривали обо всем на свете, а потом постепенно, можно сказать, незаметно, начали жить вместе. Мы не переносили вещи, каждый остался в своей квартире, но приобрели привычку: немного я у нее, немного она у меня, она на восьмом, я на двенадцатом, и эти поездки на лифте, с восьмого на двенадцатый этаж и обратно, бывали довольно занимательными. У нас были приятные мгновения, я чувствовал себя так, как будто перестал блуждать в открытом море, и она примерно так же. Она не имела ничего против моих походов на рыбалку, не выговаривала мне, что с Зекичем я провожу больше времени, чем с ней, но опять же, и она, и я, мы оба знали, что всему на этом свете приходит конец, в том числе таким связям уже не очень молодых людей, желающих сделать еще одну попытку.

Чтобы потом не упрекать самих себя, что не попытались.

Теперь закончилось и это. Финита. Game over¹. У меня остался Зекич, и, чего уж там... лучше думать о том, что еще может случиться, даже если и ничего. Но опять же, всегда остается какая-то открытая, неиспользованная возможность, пусть она и называется «поход на рыбалку».

С Зекичем, конечно. Без него было бы абсолютно, совершенно неинтересно.

А с ним все – история, насыщенная, интересная история, толстая, как котище Золушкиной мачехи. Стоит мне подумать о Зекиче, то всегда в голову приходит какой-нибудь эдакий случай, который никогда не бывает неприятен, а напротив. А даже если и неприятен, я знаю, что со временем он станет прекрасным, и воспоминание о нем никогда не принесет боль...

Вот, наконец-то мы кое-как выбрались из города и выехали на дорогу к семи озерам, – Зекич только кивнул головой. Ну, да, так я и подумал, за все эти годы кое-чему научился. Мы едем на судака, сейчас для него самое время. Позднее лето, зима уже не за горами, и судак клюет, как сумасшедший. Да что судак, целая стая голодных рыбных волков ждет нас на тех озерах. Я подумал о признаках зимы и тут же вспомнил одну давнишнюю рыбалку, в стылом январе.

Ах, какая это была зима, Зекич говорил, что будь Папой Карло, то сжег бы в камине Пиноккио, – а я смеялся,

1 Игра окончена (англ.).

мне было жаль этого маленького подмастерья с длинным носом, я живо представлял себе, как он исчезает в пламени. И в это время шел снег, разумеется, шел, несмотря на глобальное потепление, что является еще одним доказательством того, что инопланетяне имеют определенные виды на наш общий дом, но об этом они не говорят никому, даже Зекичу. Говорю вам, и сейчас идет снег, да еще какой, не проходит ни одного января, чтобы наша улица однажды не оказалась занесенной снегом, и все уродливое внезапно исчезает, все сливается и выравнивается, дома, машины, деревья вдоль улицы, и, – согласен, – понемногу, мир опять становится похож на сказку, «Красную Шапочку» или что-то вроде этого. Когда идет снег, мир как-то меньше болит в нас, но мне кажется, что таких зим уже больше нет. Мифических, волшебных зим, когда замерзает Дунай, и по нему можно пройти, аки по суху, по снежной тропе. Это мощное ощущение – ходить по реке, знать, что под тобой струится огромное водное пространство, а ты идешь, просто идешь, как Иисус, идешь, и тебе все равно, куда ты попадешь.

Вот именно в такую зиму, когда от мороза даже Дунай на мгновение приостановил свое течение, однажды утром отправились мы – Зекич, отец и я, ни юноша ни мальчик, куда-то на завод, в нескольких километрах от Нового Белграда, на север, к румынской границе, на подледную рыбалку, ловить щуку. У отца был один приятель, Данило, чудака, человек немного себе на уме, не знаю, чем он занимался. В общем, они с отцом вместе служили в армии, и у Данило была хижина

в той излучине, он дал нам ключ со словами: куда вы в такую непогоду, если б оно того стоило, поехал бы и я с вами. Но Зекич и тогда оставался Зекичем.

Один раз Зекич – всегда Зекич. Если он что-нибудь задумает или скажет, так и будет – или никак. Боже милостивый, тогда Зекич сказал, что самая крупная щука ловится в самый лютый мороз, нечего ждать и раздумывать, а надо собираться, паковать и утром на рельсовый автобус, прямо со станции «Дунай». Хорошо, но как ты себе это представляешь, – спросил отец, он в основном спрашивал, а отвечал редко, и то, только когда хотел или был вынужден. В то время мы обычно встречались раз или два в месяц, в рыболовную субботу или воскресенье, а теперь и вовсе нисколько, на этот раз отец отсутствует по действительно уважительной причине. Он умер, но, как и при жизни, не умея обращаться с детьми и не зная, что с нами делать (у меня были какие-то единокровные братья и сестры, с которыми я не знаком), кроме как всучить нас кому-нибудь, как меня мачехе, меня он обычно водил на рыбалку, в любой день недели, в любое время года.

Погода для него, как и для Зекича, никогда не была проблемой. Зекич говорил: я иду на рыбалку, чтобы наблюдать за временем, а не прятаться от него. И это так, действительно, как может быть по-другому. Отец обычно просто звонил и говорил, чтобы я собрался к завтрашнему утру, взял с собой то и то, мачеха, ругаясь, собирала меня, потом в назначенное время он меня забирал, и я со временем полюбил эти походы на воду и заразился этой страстью, осмыслил себя в ней. Она

стала частью меня, и сейчас без нее мне все казалось бы еще более бессмысленным, чтобы не сказать – совершенно бессмысленным. Теперь я знаю, потому что сейчас я примерно в том же возрасте, что и мой отец, когда он впервые взял меня на рыбалку, что рыбалка – это, в сущности, одно большое, тихое прощание – со всем, с собой, с миром, долгое и немое расставание с тем, что мы любили и что нас, по большей части, делало ранимыми. Да, именно так: рыбалка – это рассеивание непрерывной мысли над водой, что нас однажды, раньше или позже, здесь больше не будет, как нет больше отца. Точнее, того, кто назывался моим отцом.

И так все своим чередом.

М-да, ответил Зекич, ты не беспокойся ни о чем, я все знаю, и что мы будем делать, и как, и на что ловить. Но на что ловить, не отставал отец, на обманки нельзя, потому что нейлон и блесны замерзают в воде, а на живую приманку и подавно. Где сейчас найти мелкую рыбешку, и кто тебе ее продаст? Единственное – это ограбить какой-нибудь магазинчик с гуппи, меченосцами, пираньями и скаляриями, но это, пожалуй, не выход. Не волнуйся ты, бурчал Зекич, главное, как следует утеплитесь, особенно обращайтесь внимание на обувь, ничего резинового, в резине ноги быстро промерзнут, только шерсть и кожа.

В ту ночь я едва смог заснуть, дрожа в слабо протапливаемой холостяцкой квартире отца и размышляя о том, куда же мы завтра забредем. В какой-то момент я почти что отказался. Я сказал вполголоса: отец, мне не хочется ехать, отвези меня домой, но он не услышал,

с его постели доносилось ровное дыхание, он спал сном праведника. Или на самом деле был праведник, или делал вид, что спит. Приехали мы к той заводи, рельсовым автобусом, пробыли в снежной бели два дня, топили огонь, вырубали топором проруби во льду, и Зекич таскал из них крупных щук на кусок мороженой скумбрии. Я знаю, что все это похоже на невероятную байку, но, надо сказать, ничего не имею против небывальщины, и вам не стоит! Ведь чтобы история стала историей, она должна быть немного невероятной. Хотя ладно, если не верите, попробуйте, у скумбрии есть какой-то запах, какой-то жир, от которого голодная щука просто сходит с ума. Те два дня, с Зекичем и отцом, в хижине на границе болот – это конец моего отрочества. Ночью, свернувшись клубком под грубым одеялом, не снимая одежды, я слушал, как Зекич обменивается с инопланетянами тайными, шифрованными посланиями. Он говорил во сне, тягуче, на каком-то совершенно непонятном языке...

На обратном пути отец напился в кабачке на небольшой железнодорожной станции и подрался с парочкой местных олухов, один одноглазый и хромой, второй щербатый, потому что те смеялись над нашим городским видом... Думаю, это был единственный момент, когда я гордился отцом, если это вообще был мой отец, а не какой-то случайный прохожий, который им представлялся. И не знаю, сколько лет после этого должно было пройти, чтобы однажды ночью, перед тем как заснуть, выключив телевизор, я окончательно понял: все, что с нами происходит, это плод необъясни-

мых случайностей, которые мы потом напрасно пытаемся понять и придать им смысл, в попытках избежать боли и рационализировать ее. Это просто-напросто так, мы никоим образом не можем повлиять на то, что нас определяет. К примеру, кто нам отец, любит ли нас некая Анна или нет и, в особенности, почему мир делает нас несчастными, если мы ему ничего плохого не сделали.

Максимум, что можно сделать, это пойти на рыбалку.

С Зекичем, само собой. Это подразумевается.

Я знаю, что он скажет, когда мы прибудем на место:

– Эх, Аркадий, в пропащем государстве даже рыбы нет.

Я ничего не отвечу. В жизни я преуспел во всем, кроме ловли рыбы в том количестве, в каком мне хотелось бы.

Но я это наверстаю, однажды.

Все остальное – межвременье. Долгие перекуры между двумя выездами к воде.

Нам будет хорошо, Зекичу и мне, на этих семи озерах, мы прекрасно будем тратить сегодняшний день, наблюдать за облаками и немного разговаривать, больше сами с собой, чем друг с другом. Если что-нибудь поймает – прекрасно, а если нет – тоже хорошо. Мы ходим на рыбалку не для того, чтобы что-нибудь поймать. Зекич давно меня научил, что на рыбалку ходят не для того, чтобы поймать какую-нибудь рыбу, а чтобы понять, чего же хотел Бог, сотворяя нас. На рыбалку

ходят для того, чему нет названия и чего даже инопланетным существам никак не понять.

Ну вот, такова, в целом, моя веселая жизнь, ни много ни мало. Одним словом, сносно. В сущности, я ни с кем не хотел бы ею поменяться, понимаете? Кто знал Анну, и кто знает Зекича, тому довольно.

По крайней мере, мне – да.

А про отца меня не спрашивайте. Ни да, ни нет, ни больше, ни меньше. В любом случае, им я всегда был сам себе.

Лето

Непогода вызвала в приморском поселке смятение. Июль только-только достиг своей середины, но, несмотря на это, под гнетом тяжелых, стремительно летящих по небу туч, под порывами ветра и потоками воды, под громами и молниями, ударявшими в окрестные холмы, все задумались – уж не подошел ли сезон к концу.

Большинство отдыхающих в этом уголке у залива, меж отвесных скал и мелководья, на узком плато, вмещавшем всего два ряда домов, коротали первый дождливый день в надежде на то, что ненастье пройдет так же быстро, как и разразилось, надо лишь немного потерпеть. Кто-то отправился в близлежащий город и тут же поспешил обратно – сырость и скука проникали в кости, музеи не работали, а рестораны были до отказа забиты пассажирами круизных судов и яхт. Засев по домам или снятым комнатухам, люди старались хоть как-то развлечь себя, изобретая всевозможные способы убить время, что, впрочем, не составляло особого труда, ибо любой отпуск, а тем более продолжительный ежегодный, и сам по себе является периодом великого замедления и праздной траты времени.

Иные пожилые пары вдруг вспомнили о том, что когда-то у них было и такое занятие, как любовь. Морщинистая, дряблая кожа, ненадолго разглаженная мо-

рем и солнцем, вдруг начинает казаться – именно казаться – столь же манящей, как прежде, и накатывает – ненадолго, чтобы тут же схлынуть, – волна плотской страсти, когда объятие и проникновение вновь обретают причину и цель, создавая иллюзию возрожденной близости. Что же касается отпускников более юных, то они начали приступали к любви немедленно и самозабвенно елозили по простыням, наводняя округу прерывистыми вздохами, позабыв о завтраке, обеде и ужине, от самого пробуждения и до погружения в сон. Те, кто к любви не тяготел, похваливали друг друга за то, что предусмотрительно уложили в багаж теплые вещи – спортивный костюм с начесом, свитер или плотный пуловер, так что теперь, подолгу сидя на крытой веранде и слушая шум дождя, можно не зябнуть и даже, напротив, наслаждаться комфортом и романтикой. Многие обратились к легкому летнему чтиву – на море все должно быть легким, включая музыку и необременительные романы, – а натуры более нервные нетерпеливо и бесцельно перескакивали с одной телепрограммы на другую, пеняя при этом, что вот, мол, каналов куча, а посмотреть толком нечего. То ли дело, когда у тебя в телевизоре один-единственный канал, и тебе не остается ничего, кроме как прилипнуть к экрану и бездумно-безропотно поглощать все, что дают, утоляя свою потребность в ежедневном вливании разноцветных картинок, на которых жизнь предстает красочной и динамичной, в то время как на деле она не что иное, как долгое и нудное, понурое ковыляние к финишу, к которому никто не стремится, но каждый приходит.

Все, что мы делаем, приближает нас к смерти.

Кое-кто, опять же, не желая портить настроение ни себе, ни другим, бодро провозглашал: дождь – это прекрасно. Ведь еще днем раньше все кому не лень сетовали на жару – что за жизнь, не спится, не естся, эта засуха выжжет все до последней былинки, к тому же от летнего зноя уже не раз занимались пожары на ближних склонах... Да-да, повторял такой метео-философ, рискуя прожужжать окружающим все уши, ну разве не благодать – наконец-то нам, прожаренным-пропаренным, перепал глоток свежести. Уж в крематории, куда мы рано или поздно угодим, – а куда денемся? – такой возможности точно не будет. Заядлые же любители побрюзжать, привыкшие кутаться в любую погоду – как-то уж так сложилось, бог весть отчего, но ворчуны всегда мерзнут, – нет-нет, да и заводили заезженную пластинку о том, что не для того они за такие деньги ехали во все эти пансионаты, апартаменты, дачи и номера, чтобы попасть из лета напрямик в осень. Как заведенные, они вновь и вновь твердили, что жара им нипочем, более того, они весь год мечтали: вот наступит июль, придет и наше времечко, и что теперь? Ни погреться, ни понежиться, дождь омрачил давшие трудом и потом отпускные деньки.

Ничего не изменилось и на второй день. Вернее, стало еще хуже, мокрее, тоскливее, бесприютнее. Дождь лил всю ночь, барабанил по крышам, стучался в окна, звуча ударным аккомпанементом в духе псевдоавангардизма или рейва, не улаждая, а, скорее, терзая слух. Под легкими, жиденькими пледами не было никакой возможности спать сладко, без ночных кошмаров. С утра дождь не только не перестал, а полил с новой силой, ведь не зря го-

ворится, что ливень, прорезавший рассвет, — на весь день. Как оказалось, эта народная мудрость родилась не на пустом месте и себя полностью оправдывает.

Незадолго до полудня разлилась карстовая река, катившая свои воды под поселком. Сначала раздался резкий хлопок, похожий на выстрел, — вода, стекавшая с возвышенной части плато, словно в воронку, своим давлением выбила воздушную пробку из подземных каналов и полостей, и поток рванул из привычного русла — шум воды, ниспадающей в море, можно было услышать за многие километры отсюда. К тому времени уже и молодежь охладела к любви — пары лежали спина к спине, созерцая противоположные стены. Иные начали обмен журналами и книгами, прихваченными с собой и прочитанными от корки до корки. Третьи часами названивали по телефону, четвертые предавались ленивым раздумьям, что бы такое состряпать на обед... На небольших бетонных платформах, где прежде люди днем загорали, а вечером посиживали за бокалом вина, теперь валялись опрокинутые пластмассовые стулья и потерявшие форму, пропитанные влагой зонтики. Те, у кого терпение лопнуло, стали паковать вещи, и в преддверии сумерек тишину нарушал лишь монотонный плеск дождя, будто на дворе стоял конец ноября, а не июль. Более половины отдыхающих прервали свой отпуск и, собравшись наспех, как говорится, на скорую руку, понеслись на всех парах домой.

Утром третьего дня Михайло вышел на балкон взглянуть на море. Дождь стал мелким, тучи справа на горизонте слегка поредели, а вдаль даже показалась первая прогалина, но ветер был еще довольно резким,

и море продолжало волноваться. Воды залива были темны – то ли от нависших над ним облаков, то ли из-за поднявшихся со дна водорослей и ила, принесенного подземной рекой. Море выбросило на берег немало грязи – размокшего картона, пластиковых бутылок, гниющей морской травы и мелкого мусора, оставленного на берегу волнами или, наоборот, смытого ими с суши. У одного из волнорезов в тысячный раз отскакивал от бетона и в тщетной настырности прибивался назад большой разноцветный мяч, а у волн была одна лишь задача – докатиться до берега.

Михаило прибыл на море десятью днями раньше жены. И ничего странного в этом не было, такое не раз случалось и раньше на протяжении двадцати с лишним лет их прочного брака. По завершении той безумной войны они продали за бесценок унаследованный женой от родителей особняк на острове – теперь все это уже за границей. После некоторых раздумий и ряда пропущенных каникул они добавили к средствам, вырученным от продажи дома, еще кое-что и в старой, уже начавшей ветшать постройке возле залива выкупили верхний этаж, слегка его подновили и приезжали сюда отдыхать, наверное, уже десятый год подряд. Доводилось им наезжать из города и зимой – подзарядиться здоровьем. Шли годы, супруги мало-помалу перезнакомились с соседями – горсткой горожан и, в основном, владельцами других домов, – наблюдали за тем, как растут чужие дети (своих у них не было), и незаметно для себя вступили в зрелые годы. Михаило приближался к пятидесятилетнему рубежу, а его жене, которая была тремя годами старше и первой обрела кон-

трольный пакет акций собственной жизни, шел пятьдесят второй, при этом она, все еще не утратив своей красоты и привлекательности (насколько это возможно в ее возрасте), выглядела – о, это проклятое «выглядела»! – моложе своих лет.

Михаило, утомленный обыденностью и скорее рутинной, чем многотрудной работой школьного учителя истории, и на этот раз решил поехать в отпуск, не дожидаясь Милицы. Здесь даже не надо было что-то объяснять, ведь они оба достигли поры, когда страсть потихоньку увядает, но тем сильнее становится взаимная привязанность, и многое просто молча подразумевается. Ну что – поедешь? Поеду. Вот и всё. Теперь, когда над ним не довлели амбиции, от которых он освободился в сорок лет, не успев вовремя защитить докторскую диссертацию – не потому, что был ленив или бездарен, просто ему претили интриги научного мира, – оставив должность ассистента университетской кафедры и с подачи своего приятеля и коллеги поступив на работу в гимназию, – он начал прислушиваться к себе, а заодно и гораздо больше ценить свое время, ведь человеку, одолевшему полпути, не пристало разбрасываться мгновениями.

Милица, преподаватель латыни и древнегреческого – ввиду колоссального интереса современников к изречениям, апофтегмам и прочим премудростям, склонениям-спряжениям, презенс индикативу и иным диковинам мертвых языков, ей удалось осесть не в школе, а в представительстве крупной транснациональной компании, сотрудники которой были связаны священной тайной прибыли, вменявшей им

в обязанность гореть на работе, – поняла и поддержала решение Михаило. Как, впрочем, и все другие его планы и решения. Чем круче учреждение, тем больше в нем патологии, подытожила она. Собственно говоря, все это их нисколько не удручало и не беспокоило. Они ни от кого не зависели, да и от них тоже никто не зависел. Бездетные, они были единственными детьми в семье, Милица неплохо зарабатывала, родителей своих они похоронили почти одновременно, смерть их была естественной – ни тяжких хворей, ни прогрессирующего слабоумия, ни Альцгеймера и подобных старческих недугов – в восемьдесят с небольшим они ушли один за другим, да упокоит их Господь, ушли, хм, с достоинством, как если бы отправились на долгие мирные каникулы. Да-да, это совсем не удивительно, что рай нам представляется в виде залитой светом и радостью, изобилующей плодами оранжереи, где поддерживается комфортная температура и влажность – стоит ли здесь упоминать о не поминаемой всуе твари, что беззвучно пресмыкается по ветвям и выглядывает из листвы? Таким образом, жизнь Михаило и Милицы обрела свой уклад, когда они разменяли пятый десяток, и теперь шла своим чередом: работа, друзья, изредка рестораны или театр, трехдневные вылазки на Рождество и долгий летний отпуск, который оба с нетерпением предвкушали.

Михаило любил свою работу – во-первых, ему приходилось иметь дело с молодежью, а это создает ощущение того, что ты не так быстро стареешь, хотя ежегодно он отмечал, что дистанция между ним и новичками, впервые перешагивающими порог его класса,

растет. Во-вторых, никто не стоял у него над душой. И вот еще что: теперь вся эта его наука вдруг позволила ему в очищенном, концентрированном виде осознать, что и общественная, и частная жизнь, невзирая на все, что с тобой происходит и что из этого остается в памяти, по сути, – одно лишь большое недоразумение. Ты там, где ты есть, и где тебя больше нет: век истекает, и о тебе забудут, ведь мир жиднется не на памяти, что бы о том ни мыслил Платон, а на забвении. Однако, как бы прозаически это ни звучало, и как бы трудно ни было ему это признать, но любил он свою работу прежде всего за то, что она оставляла ему достаточно времени, чтобы поразмышлять о себе, делать то, что нравится, устремляться туда, куда хочется: праздники, выходные с прихваченным лишним деньком, конец первого, второго, третьего триместра, рождественские каникулы и, конечно же, долгое лето, напоминавшее о том, что и он когда-то был старшеклассником. Эх, это не забывается – тягучее донельзя лето среди раскаленной пустоши Нового Белграда и то волнение, когда за горами, за долами, после долгой езды по узким серпантинам, за последним витком, с заднего сидения отцовского «жука» вдруг взору является море.

Море.

Впоследствии он понял, что этот вид, эта изумительная, делающая тебя счастливым ширь, на самом деле – ипостась смерти. Он подумал об этом и на третий день июльской непогоды, которую все в поселке – отслеживая прогнозы и досадуя на налетевший южный атмосферный фронт: встретившись с волной более холодного материкового ветра, он создавал завихрения,

вздыхал листья, пыль, полиэтиленовые пакеты и бумагу, приносил с моря запах ширящегося тлена, словно дул из иного, потустороннего мира – воспринимали с наивными чаяниями: вот-вот все уляжется.

Не улеглось, черта с два. К вечеру третьего дня поселок, который лежал, словно в горсти, у края залива, откуда, невзирая на холмистый рельеф и разбросанные тут и там острова, все же виднелось немного открытого моря, в разгар лета почти совсем опустел. Накануне вечером Михаило встретил супругов, которые занимали доставшийся им от родителей первый этаж, – Михаил и Милица в июле-августе довольно тесно общались с ними с того самого момента, как выкупили свою часть дома. Странная все же штука жизнь: от прежних соседей, с которыми они отпуск за отпуском проводили бок о бок, в городе их отделяла лишь пара автобусных остановок – чета жила в Новом Белграде, в Квартале 21 – однако же, по возвращении домой они никогда не ходили друг к другу в гости, хотя на отдыхе и те, и другие клялись непременно продолжить это приятное общение и в городе, ведь это все же город, а не муравейник, попранный стопой Господней, где суматошно мечутся люди, сталкиваются, обдают друг друга запахами или, чаще всего, притворяются, что друг друга не замечают. Встретившись случайно, они выказывали взаимную радость, передавали приветы тем, кто при этом отсутствовал, а если такая встреча происходила между Милицей и дачной соседкой, то дамы обязательно расцеловывались и соглашались в том, что при первой же возможности надо повидаться всем вместе... Однако в конечном итоге до этого не доходило. Мир – о, да! –

зиждется на том, что все забывается тут же, и они опять ждали лета, чтобы возобновить общение и провести несколько приятных дней в теплой компании, каковую они сами же собой и являли.

На сей раз, однако, это не состоялось, и заведенная привычка была нарушена. Соседи снизу приехали чуть раньше, чем Михайло, и, не успев еще привыкнуть к его обществу, но, разумеется, спросив, когда прибудет Милица, решили завершить свой отпуск досрочно и вернуться в ад, потому что город – это ад, мудрость сия не нуждается в сверке со Священным Писанием, она постигается в процессе бытия. Первые два дня Михайло проветривал дом, который, оттого, что стоял почти у самого моря и долго пустовал, даже летом отдавал сыростью, и тут ничего не могли поделать ни новейшие лаки и краски, якобы водоотталкивающие; он не поленился, предварительно оставив нараспашку на двое суток все окна и ставни, чтобы дом прокалило беспощадное июльское солнце, развести в воде известку, взять в руки валик и заново побелить стены. Милица любила свежую побелку в доме, да и он, человек педантичный до мозга костей, терпеть не мог ни малейшей грязи. Ближе к закату, поскольку жариться на солнце он не любил, предпочитая лежать под старой липой с книжкой, попивать пиво и подремывать, изредка передвигая шезлонг по мере перемещения тени и все время перебарывая в себе стремление очистить и упорядочить хотя бы свой внутренний мир, раз уж с миром внешним все равно ничего не поделаешь, он надумал от скуки составить список всего, что его бесит и вызывает отвращение. Он полагал, что с помощью такой

мантры ему удастся не то чтобы освободиться от жизненных помех, поскольку, и он это прекрасно знал, сие невозможно – мир существует, даже когда нас в нем нет, и содержит все мелочи, которые его же и составляют, – но хотя бы убедить себя кое-чего не замечать. Ведь то, что мы не замечаем, хотя и является частью мира, но, по большому счету, не является частью нас. А то, что мы замечаем, причем замечаем маниакально, сводит нас с ума. Так и рассудком повредиться недолго.

Чего я не люблю? Много чего, но я никогда не вдавался в подробные рассуждения на эту тему. Если нельзя объяснить, что и почему ты любишь, ибо любовь не выразить словами, то, может быть, стоит перечислить все то, что не любишь? Это, пожалуй, более простая задача. Наверное, если я уясню это для себя, жизнь станет легче. Станет, как же. И все-таки. В любой голове есть дурацкий, длинный-предлинный список, и я тоже попытаюсь поименовать все то, что вызывает в нас неприятие, отвращение, опаску, презрение, чувство неполноценности, боль – да-да, и боль. Я, например, не люблю, когда кто-то бросает мусор из окна, это и в комментариях не нуждается... Кратчайшим путем избавляются от всего подряд... Ладно там окурки и зубочистки, это еще пустяк, то ли дело кошачьи-собачьи экскременты, слегка прихваченные, чтобы не замазать рук, туалетной бумагой – и все это разлетается при ударе о землю.

Каждое утро я смотрю на тротуар перед домом. Чего там только нет! Увядшие цветы, пустые сигаретные пачки, скомканные бумажные платки, использованные прокладки, отслужившие презервативы,

целлофановые пакеты, пустые и полные – пожива для птиц и собак; черствый хлеб, обглоданные куриные кости и свиные хрящи, салфетки с пятнами жира; сломанные игрушки, битые бутылки, консервные банки, плевки с прожилками крови, сгустки зеленых соплей, старые газеты, смятые чеки, осколки елочных украшений, яблочные очистки, апельсиновые корки, банановая кожура, шкурки от киви, вишневые косточки... Зависит от сезона.

А вот это бывает круглый год:

Мне противно смотреть на женщину, которая, идя по улице, закидывает в рот и пережевывает еду. Мужчины – свиньи в силу своей натуры, им прощительно, но эта слюнявая, разверстая тьма полости рта женщины режет глаз, и весь мир словно меркнет. Не нравится мне и запах женской мочи, с души от него воротит. Не то, чтобы я не научился подавлять неприязнь или тактично дать кому-то понять, приятен он мне или нет, и все же... Я ненавижу тех, кто во всем оправдывается, виня других. И тех, кто в переполненном автобусе громко болтает по телефону. О неряхах, врунах и тех, кто встревает в разговор, перебивая других, не стоит и говорить. Они меня угнетают. Не забыть бы еще о тех, у кого на любой вопрос есть готовый ответ. Или о тех, кто постоянно опаздывает. А также о говорящих, которые то и дело требуют, чтобы вы с ними согласились, но совсем не умеют слушать: вы им отвечаете, а они на вас и не смотрят, мысленно они уже далеко. Помню, один человек покончил с собой, потому что его жена никогда не была пунктуальна; в прощальном письме он ей так и написал: «Надеюсь, на мои похоро-

ны ты не опоздаешь». Я недолюбливаю тех, кто часто моет руки, не люблю, когда рулон туалетной бумаги падает в унитаз, или когда я спросонья лью себе в кофе йогурт вместо молока, а то и кладу соль вместо сахара, не люблю, когда ночью в квартире вдруг начинает рокотать холодильник, или когда стиральная машина пускается вскачь по ванной комнате, да, еще не люблю тех, кто обильно потеет, с тоской смотрю на гнилые зубы. Не люблю стоять в очередях, наклоняться к банковскому окошку. Мне не нравятся надменные пустоголовые клерки. Не нравится то, что у нас нет детей. Мы сделали аборт в начале наших отношений, потом мы детей не хотели и теперь вот – бездетны. Сейчас наш ребенок мог бы стать уже взрослым – молодой красивой женщиной или умным, слегка рассеянным юношей с тонкими пальцами, близоруким, как она, задумчивым, как я. Я не люблю чистюль и тех, кто неизменно помнит, где что лежит (таков я сам!). Не люблю тех, кто не кладет вещи на место, а потом их ищет. Терпеть не могу скупердяев. И транжир. Мне не нравится, когда струя воды из-под крана попадает в ложку, лежащую в мойке, и брызги летят куда попало. Не нравится, что у меня садится зрение: я уже едва различаю, что у меня в тарелке, не разбираю мелкий шрифт в газете и чтобы выяснить, о чем там пишут, отдаляю ее от себя, как если бы протягивал кому-то. Не нравится, что черты лица жены в полумраке становятся неразличимы в минуты нашей близости, которая у нас случается все реже и реже. И то, что это стало реже, мне тоже не нравится. Я ненавижу просыпаться от собственного храпа или звона в ушах. Страдаю, когда рыбу едят

ножом и вилкой, а потом выуживают изо рта мелкие косточки и складывают на край тарелки. Терпеть не могу тех, кто ноет, что всю жизнь неустанно работал. И тех, кто делает из профессии таинство – медиков и сантехников. Не люблю, когда в разгар лета льют дожди. Не терплю одиночества. И шумных компаний тоже. И, да, ненавижу решать кроссворды шариковой ручкой – уж слишком уродливо выглядят исправления. Кляксы на бумаге, по которым не прочтешь ни одной судьбы...

К вечеру третьего дня, с тех пор как разгулялась стихия, завершая свой причудливый, никому, в том числе, и ему самому ненужный список, вперяясь, словно в затянутое тучами небо, в экран портативного компьютера, пестрящий буквами, смысл которых уже трудно было уловить, и прислушиваясь, не стихает ли ветер, Михайло вдруг понял, что отпуск для него только начинается. Он не помнил, какой сегодня день и какое число, тем самым в очередной раз доказав – и себе тоже – верность народной приметы: настоящий отдых начинается лишь тогда, когда теряешь счет времени, отрешаешься от всего. Идет себе и идет, а человеку любого возраста, пола, расы, профессии уже не нужно обращаться к нему каждой мыслью, соглашаясь с этим банально-очевидным фактом. Порой, хотя бы на отдыхе, мы позволяем себе не наблюдать часов, которые, хочешь, не хочешь, всегда утекают в прошлое и тонут в забвении, что никем не может быть оспорено, будь ты даже историк, которого кормят усилия сохранить неопровержимое былое в относительно живом, а точнее сказать, полумертвом состоянии.

Чтобы немного размяться, просидев весь день за компьютером, он решил пройтись по берегу – с одного конца поселка на другой, семьсот шагов туда, семьсот обратно. Дни в июле длинные, и пока еще незаметно, что они идут на убыль, но из-за низких плотных облаков, вновь затянувших небо – а значит и завтра не обойтись без куртки, свитера и зонта, – сумерки опустились раньше, чем обычно в это время года. Солнце здесь и в ясную погоду всегда садилось за холмы уже часов в шесть – летом это считалось большим благом, а зимой, когда его небесный путь значительно сокращался, – крупным недостатком. Немногочисленные местные жители и случайные приезжие тогда сетовали: живем, дескать, как в ботинке.

Не уточняя, впрочем, в каком именно – левом или правом.

Узкая асфальтированная дорожка, через каждые пятьдесят метров хорошо освещенная фонарями, была безлюдной и мокрой – и от дождя, который заморосил снова, и от соленых брызг волн, бившихся о парапет, высотой взрослому по пояс. Люди попрятались в свои убежища, из-за ближайшего забора доносился собачий лай, где-то раздавались голоса и звякала посуда, издали долетали обрывки разговора на пониженных тонах, словно двое ругались между собой, не желая, чтобы их слышал кто-то еще, но все это сливалось с шумом непогоды и растворялось в нем. Надвинув капюшон на самые очки, стекла которых, тем не менее, были забрызганы моросью, Михаило прошагал значительный отрезок пути, размышляя, не упустил ли он чего при составлении своего бесполезного списка, и, наконец,

за плавной излучиной залива увидел последний фонарь – значит, через сотню шагов он повернет обратно, к дому, где наскоро перекусит, а потом заляжет с книжкой в стильную постель. Приезжая на море, они с Милицей не смотрели телевизор – его у них тут и не было, да и газеты покупали через день-два, выбираясь в магазин – пусть мозги отдохнут от каждодневной ерунды и сообщений о катаклизмах – простому смертному это все так и так ни к чему – ни смехотворные новости, ни репортажи о катастрофах.

Под фонарем, на парапете, кто-то сидел, скрючившись, подобрал колени и примостив на них голову. Михайло подошел ближе, и только оказавшись в паре шагов от светового пятна, сквозь запотевшие очки рассмотрел совсем юную девушку, которую с прежних лет помнил еще ребенком, а затем подростком. Надо сказать, что каждый год он примечал, как она подросла и изменилась с тех пор, как он ее видел в последний раз, но воспринимал это как некий естественный факт, не требующий размышлений. Тот, кто каждое утро смотрится в зеркало, не видит, как он стареет, ведь перемены незаметны, как убывание дня в июле – лишь в августе это происходит стремительно, подобно петушиному соскоку с крыльца! – увидишь свое фото десяти-двадцатилетней давности и обомлеешь: лицо чужое, оно гораздо моложе и лишь отдельными чертами напоминает твоё нынешнее, а то и вовсе ничего общего с ним не имеет.

Но ведь то, как меняются окружающие, заметить легко, особенно, если не каждый день с ними встре-

чаться, а тем более, если не видеться длительное время, ровно, как и в этом случае – раз в год. О детях принято говорить, что они растут, как трава на заливном лугу. И если учесть, где Михаило оказался в данный момент и кто он по профессии, то, пожалуй, не так уж патетично и вполне к месту было бы сказать – как из пены морской. Дети растут у тебя на глазах, как грибы после дождя, а ты воспринимаешь это как нечто естественное, не фиксируя взора, если только ты, скажем, не являешься, как Михаило, школьным учителем и что ни год, замечаешь новую Офелию или Телемаха. Потихоньку, но неуклонно время движется вперед, и вдруг – бах! – рядом с тобой возникает совсем новый человек, а в конкретном случае – из вчера еще нескладной девчонки, откуда ни возьмись, берется девушка, юная женщина.

Эта девушка, эта юная женщина, которую Михаило заметил, прогуливаясь под дождем по окраине небольшого приморского поселка в два ряда домов – один ряд вдоль берега и один позади, – была дочерью его случайных знакомых, которые тоже проживали в Новом Белграде и каждый год наезжали сюда на пару дней, оставляли сына и дочь у кого-то из местных – то ли родственника, то ли друга семьи, – а сами держали путь дальше. Они были из тех, кто не любит проводить отпуск со своими детьми. Таких гораздо больше, чем мы привыкли думать. И ничего необычного в этом нет: родителям тоже хочется отдохнуть от собственных чад, хотя бы во время отпуска, наглядеться друг на друга, побеседовать, не переходя на шепот, опять открыть в себе – или не открыть – страсть, подвести

кое-какие итоги, да и дети, эти довольно непокладистые существа, особенно подростки, не время от времени, а сплошь и рядом избегают родителей, стыдятся их, сторонятся, упрекают в том, что они-то, родители, и являются главными виновниками их явления в этот мерзопакостный мир, странный и чуждый всем, и, как ни жестоко это звучит, нередко желают родителям смерти, еще не понимая, что это за штука – глупая смерть. Они в нее попросту не верят, и мало ли чего им может захотеться – в том числе и того, чтобы те, кто их породил, исчезли из их жизни.

Будто это принесет озарение, и станет легче.

– Добрый вечер, – сказал Михайло: в поселке было принято говорить «добрый день» (утро, вечер) любому встречному, знакомому или незнакомцу.

– Добрый в-в-вечер, – запнувшись, ответила девушка.

– Прохладно, а? – продолжал учитель истории. В тот день он еще ни с кем и словом не перемолвился – все стучал по клавишам, составляя свой идиотский список, бог весть, кому и зачем нужный.

– Н-н-нет, – девушка подняла глаза на Михайло, и он понял, что заикается она не от холода – у нее такой дефект речи.

– Что же ты сидишь тут одна? У тебя нет друзей?

– Нет, все у-у-уехали.

– И ты заскучала?

– Да, г-глупо к-как-то все.

– Что ж, давай немножко пройдемся, я провожу тебя до дома.

– Давайте, – сказала она, не запнувшись на этом слове.

Встала, застегнула куртку, одернула платье, не прикрывавшее колен. Красивые коленки, подумал учитель истории: уже более двадцати лет он не спал ни с кем, кроме своей жены. В школе он приучил себя гнать прочь любую мысль вроде той, что посетила его сейчас.

Они шли молча, не спеша, той же дорогой, которой Михайло дошел до последнего фонаря на берегу, только теперь в обратном направлении.

– И в какой же класс ты перешла? – спросил Михайло, просто для того, чтобы что-нибудь спросить: они отмерили уже шагов сто, а девушка все молчала. Безмолвно и смиренно она шла рядом с ним, в какой-то момент коснулась Михайло плечом, и он искоса взглянул на нее: она была ему почти вровень – ему, мужчине среднего роста в его наилучшую пору, то есть от тридцати до восьмидесяти, как принято говорить о тех, кто уже не молод, и это, скорее, общепринятое невеселое утешение, а не правда. Наилучшей поры нет, любая пора – приближение к черной, все четче обрисованной цели. И спринтеры, и марафонцы – все, в конце концов, пересекают рубеж, заменяющий нам финишную ленточку.

– В ч-ч-четвертый перешла.

– Уже?! И когда только успела? Сколько ж тебе лет?

– Ш-шестнадцать исполнилось.

– Так в этом возрасте только второй заканчивают, – возразил Михайло, ему это было хорошо известно, ведь он преподавал в гимназии. Возраст, когда ученики расстаются с детством.

– Ну да. Но в К-к-к-анаде меня сразу п-перевели из третьего в п-п-пятый, и я п-пошла в шк-колу с шести лет, т-так что теперь п-пойду в ч-четвертый.

– Ты училась в Канаде?

– Д-д-да, родители хот-тели т-туда п-переехать, мы проб-были т-там т-три г-оо-о-ода и вернулись. Н-не нашли хорошей раб-боты.

Михаило припомнил, что несколько дней назад здесь же, на этой самой прогулочной дорожке, встретил ее отца, и тот обмолвился, что они всей семьей вернулись из Канады. Знакомая история: там хорошо, где нас нет, погоня за счастьем – как игра в прятки, надо уметь и найти его, и вовремя застучаться на кону. Вопрос только – как все успеть. Однозначного ответа тут нет: в этом деле каждый – потомок Гефеста.

Когда полпути было пройдено, Михайло спросил:

– И где же ты живешь?

– Мы уже п-прошли.

– А что ж ты не сказала?

– Не-в-важно. П-пойдемте до к-к-конца.

– Ну, дойдем – и что?

– Пойдем обратно, – ответила девушка с красивыми коленками. Удивительно, но она больше не заикалась.

– Не тяжело тебе учиться? – спросил Михайло: задавать вопросы было его профессиональной привычкой.

– Да нет, – а почему вы спрашиваете? Думаете, если я иногда заикаюсь, то...

– Ну, что ты, – сказал Михайло, хотя именно это и имел в виду. Испугавшись, что обидит точеные ко-

ленки, он тут же ухватился за другое, столь же академичное объяснение.

– Ты перескочила через год, училась по другой программе, а теперь младше всех в классе.

– Подумаешь...

– Да ведь в твоём возрасте и два года – огромная разница. Это потом уже не так важно, тридцать пять тебе или тридцать семь, – заметил Михайло, вспомнив, однако, что он не ощутил никакой неловкости, когда через несколько недель после знакомства с Милицей, а тогда они уже вовсе занимались любовью, она призналась, что старше его. Ему это даже импонировало, впрочем, у него и до Милицы были отношения – долго ли, коротко ли они длились, но все его девушки, как на подбор, были старше: одна – даже на целых семь лет, а уж такая разница в юном возрасте – не то что море, а самый настоящий океан. Они на мне тренировались, льстил он себе под настроение; никто не любит нас так, как нам хотелось бы, и никто не любит нас так, как мы любим сами себя.

И с той же непримиримостью, какую питаем по отношению к самим себе.

– А, вы про это... Ну, кому какое дело... Тем более что я буду учиться в спецклассе.

– Что за спецкласс?

– Ну, там у каждого свой диагноз. Асоциальное поведение, склонность к необдуманным поступкам, дислексия, неуравновешенность, заикание... Я заикаюсь, только когда говорю с чужими людьми, а потом привыкаю – и все проходит.

– Надо же...

– Но бывает, если не выучила урок, а хочется выкрутиться, заикаюсь нарочно. Вызвали – и я начинаю запинаться; больше двух минут учителя не выдерживают, садись, говорят. Какое-то время это прокатывалось, а потом меня раскусили и перевели в спецкласс, а там – хоть полчаса заикайся, но у преподавов терпение адово, все равно дослушают – ага, не знаешь, ну так получай...

Беседуя, они незаметно дошли до окраины поселка и опять повернули назад.

– Давай-ка я отведу тебя домой. Поздно, темно – твои будут волноваться.

– А у меня дома сейчас никого...

– Да?

– Брат уехал в город, к другу. Позвонил – сказал, останется ночевать. Хозяйка – мы у нее снимаем верхний этаж – польет цветы, покормит кошку и запирается у себя. Глухая – хоть из пушек пали.

– Все равно я тебя провожу.

– А ваш дом где?

– Вон он, третий отсюда.

– Может, зайдём к вам?

Михаило, который не знал, что и думать – он просто ощущал нереальную близость юного существа, – воспринял этот вопрос как внезапный проблеск собственного подспудного желания.

– Ну, что ж, давай зайдём...

Менее чем через минуту, открывая калитку и пропуская девушку вперед, он огляделся по сторонам, повернул в замке ключ и последовал за ней. Входная

дверь была лишь слегка прикрыта: в поселке, невзирая на все перипетии прошлого, дома по-прежнему не запирали. Войдя, они поднялись на второй этаж, который принадлежал Михаилу с Милицей. Дождь утих, воцарилась мертвая тишина.

Девушка обернулась к нему, сняла куртку, а затем, молча, и платье, под которым не было ничего, кроме чистой, совсем еще детской, незагорелой кожи. Маленькая, едва начавшая развиваться грудь – именно такая грезилась Михаилу в его мужских фантазиях, если вообще все происходящее не было всего лишь фантазией, а не реальностью в рассеянном свете непозднего вечера в крохотном прибрежном поселке, в день, вдруг выпавший из мыслей, из регулярного отсчета времени.

Михаило, поддавшись страсти, опустился на колени, все еще одетый, в запотевших очках, и начал целовать ноги девушки – от точеных коленок кверху, все выше и выше. Сердце его колотилось, а желание было столь сильным, что где тут думать о том, что он, быть может, в этот момент совершает нечто предосудительное. Собственно говоря, в такие моменты вообще ни о чем не думаешь: в сознании мельтешат и мешаются отрывочные кадры, которые наплывают внезапно и так же, вдруг, улетучиваются, без порядка, без повода, без очевидного смысла, хотя истинный смысл всегда неочевиден и непередаваем. Человек – он ведь, даже пребывая в состоянии вменяемом, не властен над своими мыслями, что же говорить о тех мгновениях, когда его собственное тело подвижно, в присутствии тела другого, лишь животной страстью, которая, как

и страх, требует что-то предпринять. Страх в тот момент, впрочем, не было – было одно лишь желание, осуществленное им столь рьяно, что, спустя время, когда все завершилось, Михайло подумал: уж не случилось ли это с кем-то другим, а он лишь за этим наблюдал или, быть может, сам обратился в другое существо, о котором внутри себя даже не подозревал. А оно, оказывается, есть.

Всю ночь она проспала рядом с Михайло, прильнув к нему и дыша ему в шею, как звереныш с влажной мордочкой. Утром он проснулся от того, что она распахнула ставни и створки окна. В комнату хлынуло яркое, буйное июльское солнце. Он открыл глаза – обнаженная, она стояла спиной к нему и смотрела на море, над головой – ни облачка, дождь умыл небо, и вдали угадывалась морская пучина: пейзаж смерти. Девушка подошла к его кровати, наклонилась, поцеловала, молча оделась – платье, куртка, кроссовки на босу ногу – и, обернувшись в дверях, сказала:

– Яп-п-пошла. Дай к-к-люч от к-калитки.

– Там возьми, на столе, – ответил Михайло, и это было все, что они в то утро сказали друг другу.

Она ушла – он слышал, как она отворяет дверь в сад, как прикрывает ее за собой. Оставшись в комнате один, он некоторое время лежал, глядя то в потолок, то в распахнутое окно. Внизу, возле дома и на пирсе, зазвучали голоса. Весь окрестный мир, словно после катастрофы, выползал из дремотных комнат, квартир и домов; ребенок спрашивал маму, где его мячик.

Михайло встал, подошел к столу, включил компьютер, дождался загрузки, нашел файл с тем самым

дурацким списком, выделил все и стер одним нажатием клавиши.

Удалить.

Никому все это не надо. И никогда не понадобится. По крайней мере, ему. Здесь будет список сбывшихся подспудных желаний. И, разумеется, одним из них будет Апокалипсис.

Он знал: на днях сюда из города-негорода утренним рейсом, уставшая от суетно проведенного года, придет Милица. Он накроет стол и встретит ее собственноручно приготовленным обедом. За которым расскажет ей все. Она поймет его без лишних слов, ведь оба они, *хм*, уже в том возрасте, когда тишина вступает в свои права, когда большая часть того, что ты еще только хочешь сказать, просто подразумевается. Без лишних слов.

Это, конечно, случится у распахнутого настежь окна. Снаружи – июль, пора уже ввериться солнцу.

У воды

*(Рыбная ловля
и беседы рыбаков¹)*

Бодрый, еще не старый человек лет шестидесяти, без стука вошел в редакцию, поздоровался и стал осматриваться, словно пытаюсь найти знакомое лицо. Не увидев никого, кроме меня – поскольку был в комнате лишь я, а меня он не знал, – он молча опустил на стол мешок с рыбой.

Я тут же их засёк, наметанным глазом маньяка: молодые судачки. Пять штук, все одного улова.

– Добрый день, – ответил я на приветствие, уже мысленно у воды. – Простите, а вы...

– Николич. Я это принес для главного редактора. Угощаю.

– Знаю, – перебил я его. – За рассказ «Сторож маленького озера», который мы опубликовали в прошлом номере. Я его прочитал...

– И что скажете? – теперь уже он меня перебил, сразу придя в хорошее настроение и не скрывая своего любопытства.

– Неплохой рассказ, только...

1 «Ribanje i ribarsko prigovaranje» («Рыбная ловля и беседы рыбаков») – ренессансная поэма-травелог, опубликованная в 1568 г. в Венеции, в которой хорватский писатель и поэт Петар Гекторович (1487–1572) описывает свое трехдневное путешествие с о. Хвар на о-ва Брач и Шолта в обществе рыбаков Паское Дебельи и Николя Зета.

– Только что?

– Так, как ловят рыбу ваши персонажи, ловили сто лет назад. Антиквариат какой-то: удочки из бамбука, гусиные перья, – все это давно в прошлом. В детстве я и сам ловил рыбу в том затоне, кое-что помню.

– Может быть, может быть, – ответил он, слегка обидевшись. – Вы наверняка один из тех, кто презирует реализм, и о таких, как я, говорит, что мы пишем, как мафусаилы. Да знаете ли вы, юноша...

– Писарев, Михайло Писарев.

– Господин Писарев. Погодите, припоминаю это имя, видел в журналах. Вы тоже пишете какие-то рассказы, не очень понимаю, о чем, – он вернул мне удар и сразу продолжил, – но я знаю одного Петрония Писарева, доктора из Сланкамена, он жил в Новом Белграде, гроза всех карпов.

– Это мой дядя, он учил меня ловить рыбу.

– И где он сейчас? От него уже давно ни слуху, ни духу. Хороший человек, настоящий энтузиаст. Дела делами, а карпы на первом месте.

– Отсутствует по уважительной причине. Его уже нет в живых.

– Господи, не могу поверить. Как, скажите, пожалуйста?

– Хорошая смерть. Очень хорошая. Если можно так сказать о смерти. В лодке. Это было года четыре, нет, уже пять лет назад. Он отправился на рыбалку, и уже на воде у него случился инфаркт. Говорят, умер в считанные секунды. Лодку течением отнесло на несколько километров вниз по реке и прибило к берегу. Нашли его только на следующей день, лежащего на дне лод-

ки. Проходившие мимо рыбаки думали, что это просто кто-то напился и уснул.

– Господи помилуй.. Как-то я это пропустил, хоть я газеты читаю постоянно, обычно с конца– спорт и некрологи. А мы когда-то с вашим дядей дружили, в нас были влюблены две сестры.

– Об этом мне ничего неизвестно, – сказал я. – Дядя не рассказывал ни о каких сестрах. Я ходил с ним на рыбалку, чтобы молча рыбачить. Ну, насколько можно так сказать о рыбалке с Глигорием, который языком молол, не переставая.

– Как вы сказали?

– Глигорий. Глигорий Бабура.

– Дьякон?

– Он самый. Так его называли старшие. Я его звал дядя Глигорий.

– Я с ним рыбачил с самых ранних лет. Какой был выдумщик! Из тех добродушных, незлобивых, которые сами верят в свои выдумки. За ним сам Мюнхгаузен мог бы записывать.

– Точно. Он мне рассказывал, будто, когда карп стареет и становится горбатым, у него вырастают крылья, и он летит. И теперь, когда я у воды, мне все это мерещится, все жду, что карп-хитрец вспорхнет в воздух – но нет.

– Его я тоже сто лет не видел, Дьякона. Как и огромного карпа: соревноваться с ним в выдумках я не буду. Я перешел на судака, ловлю время от времени, когда вода поднимается, там у себя, в Крчедине. Вчера повезло с уловом, – не без гордости кивнул он в сторону мешка рыбы, лежавшего на заваленном рукописями столе.

– И дядю Глигория вы тоже уже не увидите, всё по той же причине. История различается лишь в деталях, исход такой же. Умер в прошлом году. Также хорошая смерть. Уснул на веранде после обеда.

– Он жил один?

– Давно. Летом в Калакаче, зимой в Старом Сланкамене. Они с моим дядей были неразлучны. Подружились в армии в Дебре, служили на границе, рассказывали, как ловили форелей на Радике, да так потом и рыбачили вместе, все последующие годы. И меня приняли в компанию, чтобы я обучился ремеслу. Сначала я им ловил живца, смешивал приманку, привязывал леску на удочки, чтобы им самим не надевать очков, а потом набрался опыта и стал равноправным членом компании. А теперь мне не с кем выехать из Белграда на рыбалку. Рыбачу на Устье и по набережным, между дебаркадерами, где и начинал мальчишкой, тогда еще не было всех этих новомодных штучек. Теперь мне немного неловко: вдруг кто-то знакомый увидит, как я выжидаю с удочкой, будет смеяться. Серьезный человек, а рыбачит, где попало.

– Верно, дело говорите, поэтому и я перебрался в дикие уголки. В смысле, когда-то, они, и правда, были дикие, а теперь дача на даче, но это все же лучше, чем у Бранкова моста, где сотни желающих поудить рыбу борются за кусочек берега. Но...

– Скажите...

– Может, перейдем на «ты»? Я вижу, ты в этом деле разбираешься, а все рыбаки на «ты».

– Договорились.

Так всё и началось. И сразу продолжилось.

- Ну, когда поедем?
- Как вам удобно. То есть, тебе.
- Завтра?
- Самое позднее – послезавтра.

Сколько с тех пор было бесед о ловле рыбы! И прекрасных дней, проведенных на реке, с уловом, а чаще без него. Настоящим рыбакам не так важна рыба, как сам ритуал: облака, утро, сумерки, ветер и дождь, стена леса за плечами и широкая река, по которой плывут теплоходы, баржи, буксиры, плоскодонки и просто лодки. И всякий сброд. Я имею в виду не людей, а все те мелкие веточки, листья и всякий сор, который крутится в воде, его-то рыбаки и называют «сброд». Как вода поднимется – «полные сети сброда». А потом так стали говорить и о плохих людях, а первое значение стерлось и забылось, помнят его лишь старые рыбаки. На одном из упомянутых судов, а именно на неприглядной, но просторной быстроходной лодке, мы открыли дискуссионный клуб под открытым небом, и так годами, потихоньку старея. Как перестает клевать, начинаются рассказы.

Взять, например, про Глигория, по прозвищу Дьякон, который, как и мой дядя, давно покинул этот мир. Не то что бы он врал, мы сами подстрекали его к выдумкам, чтобы он сдабривал их подробностями, по некой особой формуле постоянного добавления деталей, придумывания, преувеличения. Например, поймает мой дядя судака, под килограмм или чуть меньше. И привязывая лодку, мы тут же сообщали любопытствующим с другого берега, что нам попалось сегодня, тот судак уже весил полтора килограмма. Мало того,

за ночь он вырастал и на следующий день весил уже два с половиной. На следующей неделе этот судак превращался в трех судаков, по три килограмма каждый. А через год уже везде говорили, что тогда-то и тогда-то, да вы и сами помните, когда, да, в мясопустную среду, мы наловили столько судаков, что борт лодки заливало волной, ух, как мы были нагружены, едва к берега пристали. Все это с универсальной присказкой «чтоб тебя баба». Забросит Глигорий удочку и провожает ее словами: «давай, не ломайся, чтоб тебя баба». Попадет-ся ему лещ или красноперка, он немного раззадорится, вытаскивая рыбу из воды, и говорит: «Тихо, что ты вырываешься, чтоб тебя баба, не пойдешь на рынок в Пазове, а прямо ко мне в сковороду». «Ну-ка, малой, – обращается он ко мне, – дай мне немного этой мамалыги, я и не таких едал, что мне эти хитрые карпики, привереды, чтоб их баба».

Однажды он закинул удочку, воодушевился и рассказал историю, как отец выгнал его в пятнадцать лет из дома, а точнее, отдал в обучение ремеслу, потому что свиней пасти он не хотел, ни в другой работе помогать. Он уже тогда увлекся рыбалкой, сбегал с уроков на реку, рос настоящим Пурой Моцей¹.

– И в один прекрасный день, чтоб меня баба, – рассказывал Глигорий, – когда я отцу уже надоел со своими постоянными уловами, – а рыбы я приносил столько, что мы ею и свиней, и кур кормили, – он мне и говорит: «Слушай, с меня хватит, иди-ка ты к дядьке, ремеслу учиться, я с ним поговорил, он тебя примет,

1 «Пура Моца» – стихотворение для детей сербского поэта Йована Йовановича Змая (1833–1904), синоним хулигана и бездельника.

если будешь слушаться. Крестьянина из тебя не выйдет, лучше бы я тебя из дерева выстругал, хотя бы свиньям было обо что зад почесать». Вот так я и подался в цирюльники, выучился, но своего дела не открыл. Мне и у дяди хватало работы, и рыбачить я мог сколько влезет. После армии он меня женил, немного против моей воли, пора мол, чтоб их баба. И вот живу я с молодой женой несколько лет, но никакого главы семейства из меня не вышло. А разошлись мы так, смешнее некуда, так уж бог решил.

Пообедали как-то, наскоро, потому что вечером ждали гостей, приезжал к нам шурин с женой, все нужно было подготовить как надо. Быстро съели суп, убрали тарелки, и я ей говорю, заскочу, мол, к коллеге, побрею его, он меня просил, чтоб его баба, побрить его после обеда, потому что завтра у него что-то важное, суд какой-то или в администрацию идти, а ей говорю, пусть пока немного отдохнет. Пусть приляжет, а то вечером будет беготни с гостями, они-то люди культурные, не просто так, женили-то меня на девушке из хорошей семьи, не по любви, но более чем терпимо. Вот это важно, любовь проходит, остается терпимость. Это уже немало, скажу я вам».

Мы слушаем, не шелохнемся.

– И? – через некоторое время спрашивает мой дядя.

– Что – и? – отвечает отвлекшийся Глигорий, уже слегка «под мухой».

– Дальше что было? Ты пошел брить коллегу...

– Точно, цирюльники редко сами бреются, чтоб их баба, чаще просят помощи коллег. Я его брею, а он – меня.

— Да это ясно, Глигорий, ясно. Что потом?.

— А вот что. Кино. Побрил я коллегу, собрал принадлежности, и домой, тут прямо через дорогу. Вхожу. Тишина. Думаю, жена задремала, пускай отдохнет. Поворачиваюсь и иду в сарайчик, где держал снасти. Всегда любил с ними возиться, тут всегда есть работа, да и для нервов хорошо, когда что-то руками делаешь, бездельникам-то всякие глупости на ум приходят, чтоб их баба. И тут слышу из гостиной какой-то голос. Ну, думаю, показалось, наверное, я ведь и сам подустал после обеда и после моего щетинистого коллеги, чтоб его баба, и его, и его щетину, борода у него была, как щетка, ему проволока и паста для чистки рук была нужна, а не бритва с мылом и помазком. Это вы еще не знаете, какая у него фамилия была, цирк, да и только. Безбрадица¹. Подумать только.

— Рассказывай дальше, Глигорий, не отвлекайся, — говорит мой дядя с легким нетерпением. Мы в тот день ничего не поймали, так пусть уж будет история.

— И тут опять тот же голос. Из гостиной. Подхожу я к двери, дверь не заперта, а только закрыта, я ее пальцем приоткрыл немного, так, чтобы можно было заглянуть. А было на что посмотреть, чтоб тебя баба. Из-под стеганого одеяла торчат четыре ноги, страстно друг друга обвивают, не при ребенке будь сказано. У меня в глазах потемнело, чтоб меня баба. Думаю, вот она жена, минуткой воспользовалась, пока меня не было, и уже валяется с кем-то. Ну, надо же, тихая и кроткая, из приличной семьи, воспитанная. Но, я вам

1 Безбородов.

скажу, в такие моменты не думаешь, кровь в голову, выскакиваю за порог и у входа хватаю первое, что на глаза попадается. Метлу, из граба, чтобы двормести, уже потертая, чтоб ее баба, с длинной необтесанной рукоятью. Влетаю в комнату и начинаю рукоятью лупить изо всех сил, раз, два, три... Под одеялом крики, жена руками лицо закрывает, от стыда, а любовника ее с головой в подушке я в своем помешательстве даже не рассмотрел, просто ударил, и еще раз, и еще... И вот я в бешенстве поворачиваюсь, иду к выходу, чтобы отдышаться, без единой мысли в голове, просто в ярости, человек в ярости – как охотничья собака, чтоб его баба, не видит, куда бьет. И в дверях встречаюсь – со своей женой.

Как так, что происходит?

«Ну и где ты, скажи на милость, – говорит она, вся раскрасневшаяся, – я тебя по всей улице ищу, нигде тебя нет, к нам гости приехали пораньше, удивить и обрадовать хотели, я пошла тебя искать, а им сказала, пусть прилягут, а то утомились с дороги. Пока ты не придешь, а потом бы вместе кофе выпили».

Стыд и позор на мою душу. Чтоб меня баба.

Напрасно я потом извинялся, я остался виноватым на всю жизнь. Ну да, они меня поняли и даже как-то простили, время все лечит, но обиду, которую я нанес жене, думая, что она делает то, что ей, честной женщине, и в голову бы не пришло, эту обиду она никогда не простила. Да и с чего бы? Мы разошлись спокойно, как разумные люди, я кругом виноватый, а она разозленная или гордая, но не показывая чувств. Потом, я слышал, она снова вышла замуж, быстрее, чем я думал, пожа-

луй, немного мне назло. А я что, день на работе, день на рыбалке, как только выдастся погода, а настоящему рыбаку любая погода хороша: дождь, снег, холод – это ничего, главное – опасаться ветра, того, что поднимает белые гребни на волнах, вот он опасен. Обычно я ездил на рыбалку на неделе, в это время меньше людей набегает в рыбные места, а по выходным ходил на работу, в цирюльню или на дом к клиентам. Старосветские люди раньше брились на дому, по выходным, в другие дни их работа не отпускала: в поле или у скота.

...

Эх, добрый Глигорий! Я рос с ним и с моим дядей, и всю неделю ждал того дня, когда они поведут меня на рыбалку. Ночью накануне глаз не мог сомкнуть в трепетном ожидании. Сон побеждал меня обычно под утро, когда они уже отправлялись на реку, но на их зов – два коротких сигнала под окном – я, взволнованный, полуодетый, выскакивал из кровати и выбегал на свою улицу в Новом Белграде, пустую, самую крайнюю, тогда еще было совсем мало машин.

...

Сидим мы как-то ранней осенью в лодке, дни тогда стояли еще теплые, лес пестрел, откуда-то слышалось птичье пение, на воде тишина, рыба клюет как бешеная, нам даже поговорить некогда – только кидаем в садки рыбины, каждая больше полкило, рыб помельче отпускаем, мы это называли «большой платеж» – за все утра и вечера, когда мы радовались и мелким рыбешкам, и безрыбью, когда настоящая рыба не клевала. Бывали и такие дни, благоприятные, нужно было только тер-

пение и упорство. Но и такие дни проходили. Не успеешь в ладоши хлопнуть, а солнце уже низко, падает в свою желтизну, думаешь, может, и завтра будет так же. Но так же обычно не бывало, а настоящему рыбаку всегда кажется, что завтра будет лучше, отсюда и фразы «завтра поедем», «завтра бы надо», «завтра, вот увидишь», и так далее «завтра, завтра, завтра», но очень редко, почти никогда «дай нам днесь». Мы наловили столько, что страшно было смотреть, такое раз в десять лет бывает. Вечером у печки мой дядя и Глигорий очень хорошо согрелись, усталому на реке человеку достаточно стакана-двух, чтобы захмелеть, и тогда я, еще мальчишка, наконец-то решаюсь задать Глигорию Дьякону вопрос, который меня давно мучил, но было как-то неловко спросить.

– Дядя Глигорий...

– Что, сынок?

Он меня так называл – сынок, потому что сына у него никогда не было, как и у меня не было отца. В смысле, настоящего отца, тот жалкий человек, который только назывался моим отцом, не считается ни в коем случае.

– Можно вас спросить?

– Спрашивай.

– А почему вас, дядя Глигорий, зовут Дьякон? Ведь ваша фамилия Бабурич.

– Бабура.

– Да, Бабура. «Дьякон» никак не связан ни с именем, ни с фамилией.

– Ну, раз уж ты спросил, я тебе расскажу. Когда меня записали в школу, я уже на третий день знал, чтоб

его баба, что школа не для меня. Но что поделаешь, надо значит надо: или к овцам на водопой, или к свиньям в загон, или к учительнице в школу, вот и выбирай. Все равно в школе было как-то терпимо, бить – не били, но кричали, ну, а где не кричат. Все кричат, чтоб их баба, буд-то все вокруг глухие. Но и эти мнимые глухие кричат, и всю жизнь друг друга перекрикиваем. Ну и я учился потихоньку, кажется, на второй год оставался, в третьем классе, только в четвертом научился правильно писать и подписываться, это мне в голову вбили. Но я тогда был туповат, закусив язык, сгибался над партой, весь потел, пока все не перепишу с доски, чтоб их баба – и доску, и мел, и учительницу. И однажды, когда я мучился со своим кривописанием, смотрит на меня учительница, добрейшая Радмила, давно покойница, смотрит так, с сожалением, знала ведь, что мне этого Бог не дал, и защищала меня, как могла, и вот она смотрит и говорит: «Ох, мой Глигорий, ты каждое слово рисуешь, как дьякон в Евангелии». Дети – это дети, радуются чужому недостатку больше, чем любому своему достоинству, ну они и в смех. Радмила, прикусив язык, напрасно пыталась их успокоить. Один раз дьякон – навсегда Дьякон, с того раза и на всю жизнь. А я и не противился. Да и что поделать? Прозвище это звучит лучше имени и фамилии, кто не знает той истории, думает, будто я человек ученый или, по крайней мере, богослов-недоучка, а я, как видишь, цирюльник. Но и это немало, и так можно жить, мне всегда хорошо, а уж если рыба клюет, чтоб его баба, то и совсем хорошо, как свободный человек.

Много таких историй *осталось* со мной *навсегда*. Но остались и те невыразимые впечатления, без четких

очертаний, не облеченные в слова. Они кружатся, переворачиваются, плывут, как под парусом. Какое-то периодическое гудение чудесного баса Глигория: «Живу, как царь? Не-е-е-ет, как свободный человек!» Какие-то яркие точки, посыпанные фиолетовой пылью, колышущееся пламя огня, скрип сырой ветви, кривая арфа внезапного дождя, месяц, турецкой саблей лежащий на дне моря, среди облаков, черных кораллов. Вода, клокочущая в котелке. Отблеск огня на лицах, шапка, надвинутая на нос. И робкий шелест листьев одинокого тополя над нашими головами. И это блаженное погружение в сон, когда усталость тела очищает и изгоняет все злые помыслы, которыми, и только ими, полнится наше подсознание. Отданный на волю воде, которая течет, как время, я понял: все, что происходит сейчас, однажды будет называться «в прошлом году», да так и с рыбной ловлей и с беседами рыбаков – дни на воде всегда превращаются в истории.

Так же случилось и с моим Данило, когда после серьезного длительного рыболовного поста я наконец-то нашел нового друга из лодки, одержимого и немножко Рипа ван Винкля¹, каким и должен быть настоящий рыболов, при этом я самого себя не исключаю, безумие всегда уравнивает безумие. Да и от старого Никола я наслушался историй, тех или иных, а потом их обнаруживал в его романах и сборниках повестей. Вот как он рассказывал:

1 Персонаж фантастической новеллы (1819) американского писателя Вашингтона Ирвинга, символ отставшего от жизни человека, который проспал полжизни.

Был рабочий день, люди – на полях или в садах. Кто-то в хлеву, с коровами. Все те, о которых мы и не задумываемся, и уж тем более не благодарим их за парное молоко, горячий хлеб, свежие персики.

Я спустился через виноградник в темноте. В пред-рассветных сумерках закинул удочки. Закурил, сидя на траве, спустив ноги с подмытого течением берега. И на рассвете увидел какого-то рыбака выше по течению, который проверял сети. Достает багор, трясет сеть. Но я не вижу, что бы он наклонялся достать рыбу или положить ее в лодку.

Он далеко, где-то метрах в ста.

Вода относит его, время от времени он веслом возвращает лодку на прежнее место.

Я возился с каплями. Только положу в садок одного, сразу второй клюет, еще больше, килограмма на полтора.

От постоянного приготовления приманки из мамалыги и закидывания удочек у меня голова шла кругом. Сосредоточенный на удочках, я и не взглянул бы на того рыбака, если бы он что-то мне сказал.

Оборачиваюсь, вижу: он далеко от берега, но сеть не вытаскивает, а гребет веслами. С трудом разбираю слова.

– Что такое, друг?

– Сейчас ты у меня увидишь что такое «дружба», за то, что ты тут в темноте натворил!

Он направил лодку ко мне, оценивая, где лучше пристать.

– Ты о чем?

Мне защищаться нечем, а он настоящий великан.

– Теперь вижу, кто у меня крадет рыбу из сетей.

Он схватился за ветви склонившейся ивы, но тут, на мое счастье, быстрое течение делает поворот, и он запутывается в ветвях. Но продолжает грозить.

– Ты у меня, братец, воровать больше не будешь.

– Ты чего, Миленко!?

Я оборачиваюсь и, слава богу, вижу одного из тех, с которыми познакомился здесь, на рыбалке. Мате или Здравко, не важно. Тот великан все еще держится за ветви над водой и говорит:

– Он у меня всю рыбу украл, все сети пустые!

– Ты что такое несешь! Да ты хоть знаешь, кто это?

– Да какая мне разница, пусть свое получит!

– Не связывайся с Срджей, это его кум...

Но тут его вода как-то отрывает от ивы, несет вниз по течению. Он начинает невольно работать веслами, пытаясь освободиться от ветвей и продолжая грозить, как грозят отступающие, стараясь показать, что это не бегство.

Храбрец уплыл. А я спрашиваю:

– Что это за Срджа?

– Начальник милиции в Инджии.

...

– Мой отец ловил рыбу и зонтом – начал было рассказывать Данило, когда мы сидели в лодке, наклонившись над водой и ожидая, что начнет клевать. Встали мы на самом рассвете, пересекли большую реку, заплыли в протоку, привязали лодку к старой иве над широким глубоким омутом, где крутились наглые леши, забросили приманку, поставили спиннинги...

зади нас, по тогдашнему обычаю. Идем по мосту через Белый Дрим, отец, как настоящий страстный рыбак, обязательно останавливается посередине и слегка наклоняется над ограждением, посмотреть, нет ли какой-нибудь форели в тихом закутке за опорой моста. Сам знаешь, самые крупные рыбы вертятся под мостами, там течение замедляется и вода успокаивается, а рыбы там избалованные, ждут, что им водой что-нибудь принесет или что-нибудь упадет сверху. «Ага, есть одна», – говорит отец, рукой нам показывает, чтобы мы отошли в сторону, чтобы не спугнуть рыбу. Из кошелька, который он носил в заднем кармане брюк, достает моток английской лески, это как теперь нейлон, а тогда, говорят, был дороже золота, привязывает красную мушку с петушиными перьями, из маминой сумки достает катушку суровых ниток, отмеряет три сажени, с такой точностью, будто бы линейкой измерил, на глаз определяя расстояние до поверхности воды. Один конец нитки привязывает к верхушке зонта, с другой стороны прицепляет английскую леску с мушкой и закидывает по течению на метр выше от рыбы, чтобы ей вода принесла наживку. Форель же прожорливая, и сразу бросается на наживку, зрение у нее идеальное, малейшую тень заметит, но не может увидеть, что у нее над головой. Отец подсекает зонтик-удочку, кричит: «Попалась, попалась!» – рыба вырывается, но крючок у нее уже глубоко в глотке. Вырывается бешено, делает несколько прыжков, все более коротких и слабых, и через минуту-две устает, а отец перекидывает ее через ограждение, и она падает к моим ногам, а я весь дрожу от волнения, глядя на ее темную спинку, коричневые бока в крас-

ных пятнышках и молочно-белый живот. Форель жадно дышит черно-красными жабрами, еще два-три раза подпрыгивает на мосту и затихает. «Дай платок», – говорит отец маме. Она достает из сумки светлый ситцевый платок, а отец заворачивает в него рыбину, которая мне кажется такой же большой, как я, хотя в ней было всего килограмм-полтора, но по моим впечатлениям это было что-то большое и волнующее, одновременно радостное и печальное, я чувствовал, как колотится у меня сердце. Отец говорит: «Ну, порадуем брата, а заодно я ему покажу, кто лучший мастер».

Тут мой поплавок дергается – лещ заглатывает приманку, я тяну леску спиннинга поворотом катушки и достаю настоящую королеву вечеринки, которая закрыла бы собой все дно сковороды.

– Ух, эти твои штуки, один пластик, – говорит Данило, глядя, как я достаю рыбу. – Мы с Младеном однажды осенью каждый по десять таких рыбин домой приносили, вся многоэтажка после обеда пахла рыбой. Леща я люблю ловить больше всего, а вот есть его не люблю. У него много мелких косточек, будто ешь зубную щетку.

– Да, бывало, – говорю я.

– Бывало. А вот, рассказывал я тебе, как Младен за один раз сломал пять своих бамбуковых удочек, знаменитых спиннингов из «тонкина»? В наше время не было этих ваших «дайвов», «квиков» и «старов».

– «Силстаров», – поправляю я его.

– Да всего не помнишь, все это приманка для легковых, таких, как ты. Вот это, видишь, удочка. Ей двадцать лет. Сухой, как порошок, но крепкий бамбук,

столько рыбы она наловила, что три таких лодки можно заполнить.

– У-у-у, верю... Но ты что-то начал о Младене говорить.

– А, да, слушай. Это было лет тридцать назад, может, и больше, когда здесь вокруг было еще пусто, две-три халупы, дачники намного позже набежали. И, открою тебе секрет, тут в трех-четырех километрах ниже по течению, среди пней, где рыбаки не могли ловить ни сетями, ни вершами, ни накидными сетями, был целый клондайк карпов. Все горбатые, крепкие, с красными хвостами, не меньше трех килограммов каждый. Поймал я две рыбины, несу домой, а они еще живые, наливаю воду в ванну и их – туда, и они там плещутся, озверевшие в городской многоэтажке. Дочь моя, Лидия, и ее подруга, которая потом стала пианисткой, визжат от радости, а я хватаю телефон, звоню Младену и, весь дрожа от волнения, говорю ему: «Приходи посмотреть, чего наловил». На первый взгляд Младен казался человеком мрачным и угрюмым, вспыльчивый был, как и все невысокие люди, а на самом деле – добрая душа, рыбалкой был одержим, почти как ты. Он сразу приходит, я веду его в ванную. «Где ты их взял, Данило?» – спрашивает он, и я ему объясняю: «Знаешь те пни, точно напротив острова, тот лиман, где старый лес повалился, вода затопила стволы, там нужно быть очень точным, как если бы стрелял по стаканам: найти в воде место между стволами и опустить в него грузило, иначе всю леску разорвешь. То есть, забрасывать можно в разные места, но того стоит, я вот двух выловил, и не меньше двух таких у меня сорвались, если

ему поднимешь голову от дна, кажется, будто сейчас его вытащишь. Но только он бросится в сторону, пиши пропало, заляжет под пень, а ты бери новую удочку и привязывай новое грузило, сам понимаешь». «Понимаю, понимаю, – перебивает меня Младен, – когда едем? Мне уже не терпится».

Приехали мы в субботу точно на то место. К счастью, его еще никто не открыл, на воде никого, тогда моторных лодок было мало. Рыбаки еще ходили на веслах, но в точно определенное время их с уловом забирала моторная лодка, чтобы уставшие рыбаки не гребли, а рыбу в артелях делили и продавали. Привязываем лодки в том месте, которое я запомнил. Была ранняя осень, дни еще длинные, но по утрам свежо, а рыба чувствует, что вода остывает, и заблаговременно старается залечь в ил, прячется там, чтобы накопить побольше жира, легче будет зимовать. И вот я закинул удочку, чувствую, что грузило и дна еще не коснулось, а уже клюнул великан, я тяну, он ушел под лодку, спрятался в ветвях и корягах. Делать нечего, отрываю леску, чтобы не спугнуть всю стаю. Карп, скажу я тебе, рыба умная, чувствует любую перемену, особенно опасность, как только попадется на удочку, обязательно притихнет, даже не думай его перехитрить. Младен рядом со мной недовольно сопит, часа три уже не клевало. Он было начал ворчать и совсем разозлился, когда вместо того чтобы бросить в воду кожуру от шпика, которым мы завтракали с кусочками белого хлеба и луком, машинально бросил свой нож с опасным лезвием. Говорит, от деда достался, а теперь он его так глупо, по расеянности потерял.

«Да что же это, Даня? – говорит он скорее сам себе с другого конца лодки, но так, что и я слышу его слова. – Куда ты меня затащил, здесь даже чебачков нет, не то что крупной рыбы». И только он это сказал, как тот, наверху, будто бы щелкнул пальцами, и конец удочки Младена согнулся в дугу, и казался в его руках огромным смычком. Он тянет, рыба – в другую сторону, раз, раз, ослабляет, тянет, и за одну секунду – щелк! – удочка ломается надвое, а это была драгоценный лакированный «тонкинка» с латунными втулками. Я ни слова не говорю, чтобы его не раздражать. Он весь красный, как помидор, кажется, вот-вот лопнет от ярости, ругается и просит у Бога милости. «Ладно тебе, успокойся, – говорю я ему через некоторое время, – забрось еще раз, рыба здесь, но сам видишь, какая она осторожная». Так и случилось, настоящий рыбак быстро смиряется с потерей рыбы, ведь если бы мы все выловили, что бы нам на завтра осталось? Не прошло и десяти минут, кажется, как история повторяется, точь-в-точь. Раз, раз, туда, сюда, тянет, затягивает, – щелк! – и второй спиннинг сломан. Тут уж его гнев ничто не могло обуздать, Младен в безумии ломает о колено три оставшихся красивейших удочки. «Едем домой», – только это и проговорил. Всю дорогу в Белград он молчал, как воды в рот набрал. Больше мы никогда не ходили вместе на рыбалку. После этого он будто бы злился на меня, глазами сверкал, когда меня видел, а спросишь меня, почему? – отвечу: понятия не имею.

Я поймал еще одного леща.

И еще одного.

Данило – ничего.

– Дай посмотреть твою удочку, – говорю ему я.

Он мне протягивает конец своей лески, а на нем привязан настоящий кованый трензель, им и трактор можно из грязи вытащить, не то что наглого лещика в полкило, с ротиком-бутоном.

– Что ты мне не скажешь, Данило, чтобы я тебе привязал поводки на удочку. Не клюнет рыба на эти твои палеозойские приспособления, лещу нужен нежный аппарат.

– Хватит болтать, а что, если мне попадется такой великан, как Младену тогда?

– Не попадется, не бойся, таких больше нет.

– Да знаю я, что нет, но все же надеюсь, что каким-то чудом один такой приплывет и клюнет на мою удочку.

– Старик, это сам знаешь, когда будет.

– Знаю, я тебе сам сказал: когда женщины пойдут к нашему цирюльнику, Глигорию.

– То есть, никогда.

– Эх, что поделаешь, кажется, рыбы тоже в университетах выучились, не только ты. Ладно, вяжи мне поводки, что время терять.

Я привязал ему десяток проволочных крючков «гамакатцу», японских, нежных и тонких. Через мину-ту-две он выловил первую рыбу и обрадовался, как ребенок. Когда положил ее в садок, наклонился ко мне с вопросом:

– У тебя есть еще эта вода? Пить хочу.

У меня в сумке были две бутылки той воды, налитой из источника возле его дома, это был колодец,

на стенке которого строитель написал красивейшее послание: «Маркиша Савич – жаждущим».

Данило сделал несколько больших глотков, его кадык поднимался и опускался, пока он пил. Потом рукавом вытер губы, вздохнул и сказал только: «Ух, лечит».

Он закурил желтую «Драву», самые дешевые папиросы, и снова погрузился в молчание, сосредоточенно глядя на поплавок из гусиных перьев, который явно был старше меня.

Вдалеке все так же гудели линии электропередач, з-з-з-з-з-з-з-з-з-з, монотонно, как оса, небесный скрипач пальцем не пошевелил, не отошел с позиции первой скрипки, солнце ненадолго остановилось в зените, никакого холода уже не было. Самое время возвращаться к домику Данило, с зелеными ставнями, красной крышей и бледно-желтыми стенами, стоящему на сухом берегу всего шагах в десяти от воды.

– Я тебе рассказывал, что в детстве больше всего любил пить?

– Да, но Расскажи еще раз.

Каждый раз, когда он рассказывал уже известную историю, он добавлял что-нибудь новое, какую-нибудь деталь, подслащивал рассказ.

– Тот Риза, если так его звали, точно не помню, Риза ли он, может, и нет, когда я только пошел в школу, продавал во время церковных праздников и по ярмаркам кабезу¹ из красноватой воды, кисло-сладкую. Ни сале², ни лимонад, что-то среднее. Бутылки он держал

1 Старинный сербский освежающий напиток на основе растительного сиропа и соды, слабогазированный.

2 Традиционный турецкий напиток из клубней ятрышника.

– Пора, Данило, уже и рыба утихла. Пока доберемся до дома, немного отдохнем, поедим, полчасика вздремнем, и уже время вечерней выпивки.

– Пора.

Там, на другом берегу, возле его домика с зелеными ставнями, пока мы привязывали лодку, Данило опять было начал:

– А вот, рассказывал ли я тебе...

– Нет, Данило, не рассказывал. А если и да, расскажи снова, будто бы это важно, рассказывал или нет, важно, чтобы что-нибудь говорилось.

Что-нибудь. Что угодно.

Всё.

Трое в лодке

С тех пор, как его в срочном порядке отправили на пенсию, Зекич полностью посвятил себя рыбалке. Ему едва исполнилось сорок пять, я это хорошо помню, а перед ним уже открывалась бескрайняя пустыня времени, больше острова Велико-Ратно, на который мы во время оно перебирались на лодке, чтобы в густом прибрежном донном иле накопать речных червей. На них лучше всего клевали жирные, глупые язи и аристократичные лещи. И окуни. Зекич ловил исключительно окуней, этих колючих щеголей, но об этом позже, если дойдет очередь.

Нам, моему приятелю Швабе¹ и мне, было лет по четырнадцати-пятнадцати. У Швабы, белобрысого с головы до пят, из-за чего он и получил такое прозвище, уже пробивались первые усики, а я был еще голощеким, звали меня Цвика², я носил очки и с прищуром глядел исподлобья. Но я уже все знал и умел, и как привязать крючок, и как выбрать место, и куда забросить наживку, и как вести поплавок, и на какое его подергивание подсечь рыбу коротким, резким движением кисти, как будто играешь на бас-гитаре. Ни в коем случае не от предплечья или локтя, иначе прорвешь рыбе губу, или крючок окажется высоко-высоко, в ветках над го-

1 От серб. разг. *Švaba* (немец.).

2 От серб. разг. *cvikeri* (пенсне, очки). Ср. очкарик.

ловой, и пиши пропало, Зекич говорил: «в тартарары». Это выражение я слышал только от него и ни от кого больше, никогда, и как только мне это выражение сегодня... эх, сегодня... приходит в голову, неизбежно я вспоминаю моего старого доброго Зеконю.

Наша троица была странной компанией, какую в обычной жизни и представить себе нельзя, но и рыбалка – это не обычная жизнь, а – и в этом я с годами убедился – легкая форма душевного расстройства, необходимого для того, чтобы оставаться в здравом уме, особенно там, где мы однажды, по необъяснимому стечению обстоятельств, очутились, потом встретились – в новобелградском Квартале 21. Зекич, как отслуживший свое, уволенный в запас солдат, маленький винтик большой машины, которую он, если и говорил об этом, что случалось крайне редко и в виде исключения, называл просто «служба». Это слово тогда звучало для меня как-то смутно и таинственно, да таким и осталось до сей поры, до момента, когда в самом себе я уже давно перерос Зекича. Мы же со Швабой были детьми из семей, которые и не стали бы такими, какими получились, и не находились бы там, где оказались, если бы не большая война. И хотя она уже давным-давно закончилась, война эта и дальше оставалась главной темой разговоров, всех, везде и всегда. В школе. В книгах. По телевизору. В фильмах (да здравствует Живоинович¹!). По радио... Да куда ни повернись, война, война и только война.

1 Велимир (Бата) Живоинович (1933–2016) – легендарный сербский актер, снялся в огромном количестве художественных фильмах и телесериалах.

Как будто она действительно была лучше всего.

Везде, но не на воде, не в лодке. Здесь, в основном, молчали. Слышался ветерок в кронах деревьев, шум большой реки, и где-то вдалеке однообразный плеск – какой-то рыбак охотился на сома. Время от времени проходил буксир, тянувший за собой несколько барж, а раз или два в день и большой белый теплоход, полный пассажиров, тот, что из-за глубокой осадки поднимает сильные волны. Белый корабль взбаламучивает дно, так говорил Зекич, и рыба пробуждается от глубокой летней дремоты. Тогда легче всего обмануть щуку или судака, потому что из-за взбаламученной воды забелеют тела сотен и сотен мелких рыбешек.

Зекич был женат на стройной, прекрасной Биляне, немного младше его, к слову, коренной белградке, что в нашем новобелградском квартале было исключением. В Квартале 21 все откуда-нибудь приехали, Шваба, я и остальные наши сверстники были первым поколением, которое не помнило леса, единственным известным нам миром был недавно обустроенный городской остров, затерянный в огромном океане песка, насыпанного на наших глазах на водоразделе Дуная и Савы. У Зекича, крещенного именем Гойко, которым его никто не звал, а только Зеко, Зекан, Зекое, Зеконя, (а в насмешку, среди рыбаков, и Окунятник), и Биляны, которую мы, хотя она еще оставалась эталоном красоты, простодушно звали «тетя Биля», на что она только улыбалась краешком губ, – не было детей, и, может быть, эти двое в нас со Швабой видели то, чего им не доставало. Тю, все это задний ум, его на хлеб не намажешь. И никогда не сможешь, пока стоит белый свет. И пока существует Дунай,

само собой, который течет по всем дням, и по светским, и по церковным праздникам, на светлую Пасху, на Первое мая, в Чистый понедельник...

Зекич приметил нас со Швабой еще в первое лето после переезда в квартал, когда мы во время школьных каникул в одном из оставшихся глубоких затонов, сразу за последним домом, там, за железной дорогой, целыми днями ловили красноперок и солнечных карасей. Жарким июлем и долгим августом мы томились на воде, с утра до вечера, без дела, а тут Зекич случился, потому что не знал, куда девать остаток отпуска. На море он не ездил; опустевший, полуразрушенный дом в родных краях, из которого он в нашем возрасте ушел на войну, даже и не пытался отремонтировать. Весь его родной край уже давно опустел, только прозрачная, своенравная речушка бежит неустанно, для нее понятие времени и сегодня... эх, сегодня... как и тысячу лет назад, не значит ровным счетом ничего, ее дело – журчать... В ней Зекич мальчишкой ловил своих первых голавлей и гольцов, и уже в зрелые годы, как человек, так до конца и не привыкший к городской жизни, вспомнил свою давнюю страсть. Тетя Биля с сестрой уехала на воды, просто, чтобы убраться с раскаленного асфальта и надышаться свежим горным воздухом с Гоча¹, и вот однажды утром Зекич тут как тут, тащит два бамбуковых удилица из «тонкинського» бамбука, с латунными втулками и крупными пробковыми поплавками с красной головкой. Я сразу понял, что он нацелился на хищную рыбу. Водились в тех затонах отличные щуки и очень крупные

1 Гоч, гора в Сербии.

окуни, размером с ботинок сорок пятого размера. Он засел в десятке метров от нас и забросил удочки...

Уже через пару дней мы стали «коллегами». Так тогда говорилось: «Коллега, ловится ли?», «Коллега, как оно?», а тот отвечал, если ему было до разговора: «А то, сбежались, как бабы, в парикмахерскую», – или что-нибудь в том же роде, более или менее остроумное: «То потухнет, то погаснет», «До сих пор не работало, да вдруг перестало»...

– Ну, коллеги, как дела? – спрашивал, бывало, Зекич каждое утро того душного августа, проходя мимо нас, пока мы отбивались от надоедливых комаров сорванными ивовыми ветками, тогда еще не придумали крем от этой напасти. Вот оно, рыбацкое счастье! Мы знали: пока есть комары, есть и рыба, а когда день разгорится и комары утихнут от жары, тогда и рыба перестанет клевать, и до позднего послеобеденного времени можно спокойно отлеживаться в тенечке, болтать ногами в воде, пощипывать хлеб и кусок сыра из сумки, считать облака и предаваться мечтам, до тех пор пока солнце не склонится к западу и первый кровосос не зажужжит возле уха. Это сигнал, что пора продолжать.

Коль зашла речь о мечтах, мы со Швабой уже создали нашу первую группу. Точнее сказать, мы думали, что создали. Он взялся за ударные. Барабаном ему служила широкая перевернутая кастрюля, покрытая сложенным вдвое одеялом, а прочная картонная коробка играла роль бас-барабана. По ней он ритмично стучал правой ногой, пока от ударов картон не размягчался и, в конце концов, не прорывался. Тогда коробка переворачивалась на другую, целую сторону, и так далее.

Когда и четвертой стороне приходил конец, начинались поиски новой коробки. Крышка от той же самой кастрюли, одетая в наволочку, служила заменой большой тарелки. *Бум-бум, ду-ду-ду, ду-ду-ду, врушиш!!!* Шваба, безусловно, обладал прекрасным чувством ритма. Он ставил какой-нибудь сингл на отцовском проигрывателе и быстро включался. А я, я играл на русской балалайке, сувенире моей тетки Анны, урожденной Мармеладовой, привезенном из круиза по Волге; эта тетка (жена маминого брата) происходила из русских белоэмигрантов, уже в зрелые годы отправилась на Русь-матушку повидать еще остававшуюся там родню. Балалайка мне, в сущности, служила бас-гитарой с тремя струнами, и даже сейчас мне не нужна четвертая. А так как я очень быстро порвал сувенирные струны, то вместо них натягивал рыболовную леску разной толщины – *тиньк, тиньк, тиньк* – дергал я изо всех сил, а Шваба до беспамятства лупил по барабанам, и так до тех пор, пока в комнату не входила его мать Наталия, самая фигуристая капитанша в наших краях, всегда с улыбкой на светлом лице, и не говорила:

– Хватит, хватит, сколько можно, боже мой, поиграйте и за пояс заткните.

– Но, тетя Ната... – отвечал я, делая вид, что не понимаю. – Как Шваба заткнет барабаны за пояс?

– Цвика, негодник, не умничай. Сейчас как дам вам этими барабанами по башке. Только и знаете, что барабаните и слушаете этих крикунов, ладно бы еще Цуне или Наду Мамулу¹, а то ж боже сохрани. Займитесь чем-

1 Исполнители народных песен.

нибудь другим, поиграйте в «Не сердись, дружок», покатайтесь на велосипедах...

– Как же мы будем кататься, если у нас их нет, – подключался Шваба.

Мама Наталия в ответ делала вид, будто не слышит, велосипедов не то что не было, а абсолютно...

– Книгу какую-нибудь возьмите, вон собрание сочинений Бранко Чопича¹, тут найдется и для вас, чего только нет.

– Мы уже прочитали, – вопили мы со Швабой в один голос. – Все прочитали.

Мы и вправду прочитали. Мне очень нравился тот рассказ, в котором Бранко на каникулах рыбачит, используя вместо верши («кошелки») связанные брючины от длинных штанов, а его младший товарищ Николица загоняет в них рыбу длинным шестом, называвшимся «вышибала», которым шлепая им по воде, заводя его под камни или в сплетение древесных корней на подмытых берегах.

– Ну, так перечитайте, хватит с меня уже этих ваших волосатиков.

И мы читали, что еще нам оставалось делать.

Так было, начиная с осени, и затем всю зиму – а в то время бывали обильные снегопады, – и пока в школе шли занятия, когда, даже если нам хотелось, а нам хотелось, – нельзя было попасть в наш рай, за железную дорогу. Мы со Швабой получили особый, строжайший запрет, можно сказать, приказ, потому что в январе прошлого года, сразу по приезде в квартал, так

1 Бранко Чопич (1915–1984) – сербский прозаик, поэт, автор произведений для детей и юношества.

как мы вскоре познакомились и сдружились, на зимних каникулах попытались кататься на коньках по замерзшим затонам. Как только застынет лед, а зимы тогда были суровые, вся детвора из Квартала 21 становится на коньки, и бывало тут всякое. Лед, как мы думали, был достаточно толстым, чтобы нас выдержать, и казалось, что мы не ошиблись, до тех пор, пока Шваба, разругавшийся от ветра, увлекся и слишком не приблизился к зарослям камыша над заснеженной ледяной площадкой. Лед проломился, и Шваба провалился по самое горло. Я на своих «снегурках» поспешил помочь ему как-то выбраться, но и сам оказался в воде, от которой прерывалось дыхание. С грехом пополам мы выползли на прочный лед и, промокшие и заледеневшие как от холода, так и от испуга, ринулись к Швабе домой... По счастью, нас не отлупили, тетя Наталия была добрая душа. Прекрасное существо...

– Вы родились, чтобы вместе делать глупости, – сказала она, словно предсказывая судьбу, вытирая нас и раскладывая на батарее одежду для просушки, но нас не выдала, этот случай навсегда остался нашей маленькой тайной.

В тот же год, в начале второго полугодия, в нашу школу приехал, – чистая правда, – Бранко Чопич! Три дня длились приготовления. От волнения трясло учеников, учителей, воспитателей, уборщиц, завхоза, даже строжайшего директора, этого деревянного, вечно надутого Газикаловича, настолько страшного, что я и по сей день иногда посреди ночи вскидываюсь, обливаясь потом, когда мне приснится, что в класс входит дежурный и еще в дверях орет мне: «Карапешич, к ди-

ректору, получишь выговор, Митрашиновичка пожаловалась, что ты жевал жвачку на ее уроке».

Ох уж эти сны! Забавно это – Карапешич! Во сне никто не зовет меня настоящим именем, но я все равно откликаюсь, может, как и у всех людей, у меня десять тысяч скрытых имен.

Вместо улыбающегося, озорного писателя, книги и фразы которого мы все знали наизусть, перед нами появился немного растерянный невысокий человечек, с потупленным взглядом, ему понадобилось некоторое время, чтобы раскрепоститься и разговориться. Но когда он начал говорить, все онемели, отличники позабыли свои заготовленные вопросы, Милчановичка, в которую мы со Швабой были влюблены, ну и еще полкласса, и которая со стихотворением Чопича «В зале праздничном, тиха, как печаль...»¹ заняла первое место на городском конкурсе чтецов среди восьмиклассников, смутилась и от волнения запнулась в самом печальном месте. Неважно, все аплодировали, и учительница по домоводству Эмилия Кокотович-Цимбалевиц, и директор Газикалович, и Попрженовичка, и физрук Каракушевиц, и добрая Милка Джамбасович... и Бранко Чопич аплодировал, и фотографировался с нами, и подписывал нам «Годы на последней парте»², и последующие дни мы жили той встречей, и попискивали от какой-то бессловесной, затопившей нас радости. Даже вечно недовольная физичка, пожелтевшая Попрженовичка, и та не с такой легкостью раздавала «колы», так мы на-

1 Стихотворение Б. Чопича «Мать героя». Перевод О. Сарайкиной.

2 Повесть Б. Чопича для детей и юношества.

зывали единицы¹, даже ее ненадолго загипнотизировала кротость и жизнерадостность писателя.

Ненадолго, говорю...

Мы росли сами по себе, дуралеи, как нас называл учитель рисования, художник Илачевич, тот, что курил на уроке и часто засматривался куда-то вдаль. Никогда ничему не учивший, только, бывало, скажет нам, ну, дуралеи, достаем из портфелей краски, альбомы и карандаши, молчим и рисуем, что в голову взбредет, а сам сядет за кафедру и утонет в мыслях; он выглядел так, словно раз и навсегда над чем-то глубоко задумался и постоянно себя спрашивает: «Хорошо. А я что здесь делаю?»

Шваба, будущий великий барабанщик, был, впрочем, главный клоун в классе, живой герой. От его шалостей, насмешек, дурачеств и проделок у всех волосы вставали дыбом...

Однажды мы на школьном дворе нашли грача, огромную, каркающую черную птицу со сломанным крылом. Они гнездились на платанах в парке, с той стороны бульвара, ближе к Дунаю, в квартал же слетались, чтобы собирать мусор и рыться в помойках.

– Глянь-ка, птичка, летать не может, – крикнул Шваба. – Лови ее!

Мы попытались настичь этот черный ужас, птица больно быстро бегала, но кое-как нам удалось загнать ее к забору. У нее был опасный острый клюв. Шваба скинул синюю школьную рубаху, тогда в школу ходили

1 В Сербии следующая система оценок: «1» – «неудовлетворительно», «2» – это уже положительная оценка, «удовлетворительно», «3» – «хорошо», «4» – «очень хорошо» и «5» – «отлично».

в синих рубашках, училка пения Митрашиновичка еще от входных дверей неумолимо отправляла домой любого, кто был одет не по форме. Птица, наострив клюв, попыталась прошмыгнуть у нас между ног, но Шваба сноровисто набросил на нее рубашку.

– Ага, попалась, – радостно воскликнул он. – Пошли, сейчас первый урок.

Мы ввалились в уже совсем полный класс, по вторникам первый урок у нас был в специальном кабинете, с инструментами и большими рабочими столами. Шваба затолкал огромную птицу в нижний ящик стола учителя Остои Остоича-Убипарипа, глухого как пень, и закрыл его. Учитель Убипарип, родом откуда-то с Грмеча¹, известный присловьем «понимаешь ли», через пару минут вошел в класс, Шваба еле успел занять свое место на задней парте. Мы встали поприветствовать «Понимаешь ли», в то время ученики с преподавателями здоровались вставанием. Остою Остоич-Убипарип, учитель ОТО, мастер наждака и клея, бросил журнал на стол. ОТО, для тех, кто не знает, это вовсе никакое не аристократическое немецкое имя Отто, а аббревиатура чудесного учебного предмета, называвшегося «общетехническое образование», и впрямь волшебного, но трудного и слишком длинного, чтобы выговорить полностью. Было это время всеобщих сокращений. Домоводство выговорить легче, но по великолепию оно не уступает ОТО; что и говорить, замечательных же знаний мы понабрались в школе, и очень они нам потом в жизнигодились. Можно подумать.

1 Грмеч – горный массив в северо-западной Боснии.

Мудрость, ученость и доброта не приносят ничего.

– Садитесь, – по привычке сказал Остоя Остоич-Убипарип. – Сегодня мы будем, понимаешь ли, говорить о...

– Гра, гра-а, гра-а-а – отозвалась птица из ящика.

– Простите, кто это сказал, я не расслышал, – дернулся ООУ, учитель ОТО.

Мы захихикали, я чуть не описался, и от страха, и от смеха.

– Гра, гра-а, – снова подал голос грач.

– Кто это там гракает? Эй, обормот, понимаешь ли, кто гракает, вот я тебе. Для тебя же лучше, сам объявись, а не то...

Птица не переставала орать этим своим чудовищным скрипучим голосом, смех уже невозможно было остановить, Остоич-Убипарип не знал, куда деваться от ярости. Он вскочил, как ошпаренный, и в бешенстве выбежал из класса. Через несколько минут он вернулся с замдиректора Кутлашичем, но Шваба уже успел выбросить птицу в окно. Мы сидели тихо, как будто ничего не случилось... и никто нас не выдал, от колыбели и до гроба самое крепкое – это ученическое содружество.

Как-то в другой раз, уже в конце учебного года, когда выставляются оценки, историчка Даниела фон Миодрагович, «знаете, дети, мой прадед был бароном, дворянство он получил от австрийского императора», принялась нас проверять вдоль и поперек, с первой до последней темы. Мы зазубривали все слово в слово, сидя за партами, не понимая и половины из вызубренного, в ожидании того момента, когда благородная

von Miodragovitsch, нервно листая свою тетрадь, в которую записывала что, когда и кого спрашивала, назовет чье-то имя (*только не меня, ух, сколько еще до конца, здорово, сегодня меня не вызовет, может, попроситься выйти, этот вопрос я знаю, почему она мне его не задала, да что ж меня именно сейчас...* – и так далее, школярские мысли в страхе и трепете). В начале урока, перед тем как усесться за стол и записать, что положено, в журнал, она окинула взглядом класс и тут же сказала:

– Сегодня я спрошу Милчановичку, Дрновшека и тебя, Куюнджич.

Фамилия Швабы была Куюнджич. Теперь вы знаете, о ком речь, да, да, тот самый Стив Q, один из десятки лучших барабанщиков в мире по версии журнала NME¹.

И пока она записывала в журнал тему урока, Шваба неслышно, как тень, выбрался в окно – наш класс был на первом этаже. Милчановичка получила пятерку, она всегда понимала то, что учила. Дрновшек кое-как вытянул на тройку, при помощи моих отважных подсказок.

– Хорошо, могло быть и лучше, но ладно, пусть будет нетвердая тройка? – заключила баронесса Миодраговичка, как будто вынося приговор. – А теперь ты, Куюнджич, поднимайся.

Тишина.

– Куюнджич, ты что, оглох, встань – осматривала учительница жизни класс и не могла углядеть Швабу.

– Куюнджич, где Куюнджич?

1 *New Musical Express* – авторитетный английский музыкальный еженедельник, выходит с 1952 г.

– Какой Куюнджич? – вылетело у меня, я слышал свой голос, как будто это произносит кто-то другой, я и представить себе не мог, что такое отчебучу.

– Куюнджич, Куюнджич. Здесь есть Куюнджич? Вы тут что, с ума посходили? Где Куюнджич?

– Какой Куюнджич? – теперь подключился кто-то еще, с задних парт. Миодраговичка, закипая от нахлынувшего негодования, теряя свои благородные манеры, покраснела, как партийное знамя. *Бум, бум и трях.* Дело закончилось тем, что Шваба получил выговор, за которым могло последовать исключение, а я – выговор от классного руководителя, с обязательным посещением школьного психолога Мишура Петрониевича, молодого, только что закончившего институт хиппи, который не мог скрыть восторга от нашей изобретательности.

И все же вершиной Швабиных проделок стало то упорство, с каким он с завидной регулярностью на каждом уроке географии сообщал старому, рассеянному Хаджиконстантиновичу об отсутствии несуществующего ученика. Вот входит старый учитель, которому сорок лет повествования о городах и странах уже поперек горла, мы встаем, он машет рукой, безмолвно показывая этим жестом, чтобы мы садились, потом смотрит в окно, помолчит минуту-другую, мы шушукаемся, он, в конце концов, вспоминает, что находится на уроке и что надо что-то делать. Садится за свой стол, открывает журнал и спрашивает:

– Кто сегодня дежурный?

В ответ на это Шваба каждый раз, как положено, встает и говорит:

– Пожалуйста, учитель, это я.

– А, хорошо, – отвечает на это Хаджиконстантинович. – Кто отсутствует?

– Сейчас посмотрю. Ага, Панчич, Живков, Тодорович, Мусабегович и Пантич.

– Подожди, я запишу, помедленнее, как ты сказал?

– Панчич, Живков, Тодорович, Мусабегович и Пантич.

– Так, так... Мусабегович и Пантич, говоришь.

– Да-да, Мусабегович и Пантич.

– Хорошо, а сегодня мы немного поговорим об Азии. Видите ли, дети, Азия – это очень большой континент, со множеством различных стран, природных богатств и полезных ископаемых...

Вся соль в том, что этот Пантич никогда и не учился в нашем классе, не то, что не сидел в нем, вопрос, был ли вообще в школе какой-нибудь Пантич. И это все продолжалось до конца первого полугодия, пока старый Хаджиконстантинович наконец не вышел на пенсию. Мы его любили, звали «дедуля». Несколько лет спустя один режиссер, кажется, тот самый Даскалович, снял фильм об обитателях дома престарелых, и среди них я узнал нашего бывшего учителя географии, его называли «жених», так как в доме престарелых он, и правда, женился, первый раз в жизни.

Так совпало, что в тот самый год, когда Зекича отправили на пенсию, а мы со Швабой окончили восьмилетку, засыпали последний затон и убрали железную дорогу, точнее сказать, перенесли ее подальше от Квартала 21. По ночам мы больше не слышали, как поезда проходят вплотную к нашим домам, а только протяж-

ным свистом отзываются откуда-то издалека. И дальше туда проходят, проходят, проходят, проходят, как с тех пор прошли и все те свинцовые годы, из которых человеческому существу, муравью среди муравьев, нечего мало-мальски приятного и хорошего вспомнить, если бы только во всем этом не случилось какого-нибудь славного Зекича, этого добряка, давно уже переселившегося в колумбарий на Бежании, поближе к своей Биляне, ушедшей за год-два-три до него. Годы или растягиваются, или выравниваются, накладываются один на другой, смешиваются, выпадают. Постой, когда это было? Неужели уже?! А кажется, будто вчера! Да нет, нет, это случилось прошлым летом, а кажется, невесть сколько лет назад. Когда?! И все так как-то проходят, проходят, проходят, как поезда, покуда...

Все эти штуки со временем и всё, что мы знаем о нем, условно и произвольно, и не укладывается ни в какую математику, элементарную или высшую, абсолютно все равно, тем не менее, это не искупает того факта, что я у моей математички, дорогой Джамбасовички, все время, сколько она меня учила, стабильно получал «единицу», прямую и надменную, как телебашня на горе Авала. И это всегда заканчивалось тем, что в конце второго полугодия, когда выставляются оценки, она эту «единицу» без слов, как по волшебству доброй феи, превращала в «двойку».

— Ты этим в своей жизни заниматься не будешь, — только и произносила она, как будто прорицая мне судьбу, и переворачивала страницу в журнале.

Но сейчас речь не об этом, а о том, что я ничего не понимаю, когда речь идет о возрасте. Пять лет для

пятнадцатилетнего – это очень много, треть жизни, взбаламученное озеро, над которым день за днем сменяются тучи и солнце; в двенадцать лет еще ребенок, мальчишка, в пятнадцать – юноша, щеки которого чернит первая щетина. Тот же, которому исполнилось сорок пять, ничем не отличается от того, кому сорок восемь, жизнь неощутимо остается позади, поезда грохочут в ночи... Шестидесятилетних охватывает сильная паника, они уже не говорят, что три или пять лет более или менее все равно, то, что они могли три года назад, больше уже не могут. Восьмидесятилетние упорно думают, что они все еще не для колумбария. Они полны планов, есть еще впереди годок, да, да, хоть ровесники уже давно ушли и все больше уходят, но, как ни посмотри, все смерти объяснимы, кроме своей собственной. Ее не существует даже в перспективе, о ней не думают, потому что она попросту невозможна. Так вот, для пятнадцатилетних сорокапятилетний стар, как мать-земля, так мы со Швабой думали о Зекиче, для шестидесятилетних сорокапятилетний – это тот, у кого еще все впереди, а для восьмидесятилетних, для восьмидесятилетних шестидесятилетний – это юноша, которому, так сказать, еще предстоит пожить, и надо очень сильно постараться дожить до их возраста, и ему еще предстоит настрадаться.

Зекич, Шваба и я были и впрямь «разномастные» трое в лодке. Другие рыбаки, которые нас не знали, думали, что это отец отправляется с сыновьями на рыбалку, как будто это во дни лещей, щук и окуней вообще имеет значение, кто кому кем приходится... В общем, Зекич, как только выправил свой первый пенсионерский рыболовный билет, купил по благу на складе

списанного армейского имущества бэушную черную резиновую лодку, принадлежавшую речному флоту, еще крепкую, большую, с дном, сделанным из авиационной фанеры, и двигателем в четыре лошадиные силы, который все называли «пента», ну и мы в этом не отличались от остальных рыболовов. И как только мы со Швабой выкраивали время от школы и музыки, мы бороздили наше море, мутно-зеленый Дунай, вверх от Войне-Баште мимо островов Велико-Ратно и Лошадиного и всех дунайских рукавов – Дудина, Иличева, Шойкина... и вниз по течению до Бела-Стены, Мале-, Велике- и Средне-Воде, начиная с ранней весны, когда Господин Дунай гонит талую воду из Дравы и с Альп, и до поздней осени, когда вода прибывает и поднимается из-за частых дождей. В эти три-четыре октябрьских дня, пока поднимается вода, можно поймать столько, сколько за целый год. А раз уж мы говорим о музыке, Шваба в первом классе гимназии продал кимоно для карате и отцовский проигрыватель «Риз», насобирав таким образом ровно столько, чтобы купить свои первые барабаны марки «Тон – Нови-Сад», а я, сам не знаю как, добыл чешскую бас-гитару «Йолана». Я терзал ее, подключившись к радиоприемнику «Тесла», пока динамик не лопался от бубнящих вибраций. Гитаристов мы меняли чаще, чем носки, для нас не был хорош ни один новобелградский Хендрикс¹.

А потом все это неожиданно на какое-то время прекратилось. От Зекича ни слуху, ни духу. На рыбалку мы

1 Джими Хендрикс (1942–1970) – легендарный американский гитарист-виртуоз, певец и композитор.

обычно (расскажу, пока не забыл) отправлялись по субботам и воскресеньям и в обязательном порядке на каникулах и по праздникам. Как-то осенним вечером в пятницу, в те октябрьские дни, когда клюет сазан, чувствуя приход зимы и начиная нагуливать жир, прежде чем забиться в яму под корягой, мы со Швабой после прослушиваний в бараке, где нам выделили помещение для репетиций, отправились на полсотни шагов дальше, до ПРЦ – чудесная аббревиатура рекреационного центра пенсионеров, точнее, клуба пенсионеров, где наш старый приятель играл в преферанс со своими ровесниками – все как один досрочно вышедшие на пенсию офицеры, вышедшие в тираж военные, или «служаки», короче говоря, наши разочаровавшиеся отцы, которые уже давно не знали, куда им деваться и что делать с собой и своей жизнью. Кто-то ходил на охоту, кто-то грозился, что на будущий год по весне вернется в родные края, хватит с него центрального отопления и жизни на десятом этаже, соскучился по открытому огню, лесу и скошенной траве, но этот год постоянно откладывался на следующий, и так до бесконечности... Текли пустые дни, сбиваясь в недели, месяцы, тысячелетия, приходили и уходили однообразной чередой, до тех пор, пока... Обсуждая по дороге нового гитариста, с которым мы как раз пытались сыграть, считая каждого из них обманкой и неизбежным злом, так как хорошей песни не бывает без баса и барабана, а соло-гитаристы – все, как один, эгоцентричные маньяки и эксгибиционисты, мы вошли в хронически прокуренный клуб, чтобы договориться с Зекичем, в котором часу утром отправля-

емся и где встречаемся. Вода в Дунае стояла еще низко, и мы выбирали, куда поехать: на канал Себеш, ловить щук на блесну, туда надо было ехать пригородным автобусом от станции Богословие, или же махнуть в Орловат, на уклейку, мелкую рыбешку и тамошних окуней, чтобы попасть в этот район Баната, надо было встать пораньше и выехать первым утренним рельсовым автобусом со станции Дунай. Тут я вспомнил, что не запер помещение для репетиций, а может, и запер, я не был уверен, точно запер, все же нет, потом я на всякий случай вернулся проверить, разумеется, я его запер, а Шваба ушел договариваться с Зекичем. Мы столкнулись в дверях клуба, он как раз выходил.

– Эй, – сказал он растерянно. – Нет Зекича.

– Как нет?!

– А вот так. Старички говорят, что его не было целую неделю, и они понятия не имеют, где он. Никому, говорят, не сказал. Может, заболел?

Мы добрели до высоты, одной из Шести каприалов, где на шестом этаже, откуда в высокий водостой был виден Дунай, жил наш друг из лодки. Я поднялся на лифте и позвонил в дверь, на которой висела табличка «Зекич – Купусаревич». Фамилия тети Били была Купусаревич, ее предки, коренные белградцы, вели свой род еще со времен князя Милоша, и не только по этой, но и по еще тысяче других причин она, выходя замуж, не захотела менять фамилию, хотя, по правде говоря, молодой видный горец от нее этого и не требовал, у любви, в любом случае, только одно-единственное имя, все остальные – ложные. Хм, это здорово, подумал

я, Зекич Купусаревич, заяц в капусте¹, куда уж лучше, судьба собирает не только ягодки, но и капусту.

Из квартиры доносилось радио. Секунду спустя двери недоверчиво отворила Биляна Купусаревич. Ее голова была перевязана платком, глаза ввалившиеся, заплаканные. Она уже не была той красавицей, как на прошлой неделе, когда я поздоровался с ней перед универсамом. Приступ мигрени, бессонница, волнения, еще что-то...

– Это ты, Цвика, – произнесла она хрипловатым, измученным голосом. – Входи, не стой здесь.

– Спасибо, тетя Биля, – отвечал я, как любой хорошо воспитанный офицерский ребенок. – Не нужно, я не хотел вас беспокоить, но мы не нашли дядю Зеко в клубе, и я подумал... Мы договаривались, знаете, на завтра.

– Входи, – теперь это уже звучало как приказ.

– Не могу, – попытался я еще раз. – Меня Шваба ждет.

– Ничего, подождет, мы недолго, только не стой столбом, заходи, раз я тебе говорю.

Я вошел. Эта квартира не походила на другие квартиры моих приятелей. По стенам были развешаны картины, портреты старых горожан, наверное, покойных Купусаревичей, мебель была не из торгового дома «Белград», да и ковры тоже. Я в смущении остановился посреди комнаты.

– Пошли в столовую, – сказала тетя Биля и, не спрашивая, налила мне кока-колы, несколько лет назад кока-кола буквально затопила Югославию.

1 В буквальном переводе: Зекич – Зайцев, Купусаревич – Капустина.

– Садись. Ох, убивает меня эта мигрень. Короче, слушай. Гойко забрали в прошлый понедельник.

Первый и единственный раз тогда я услышал, чтобы кто-то называл Зекича по имени. Гойко.

– Что вы имеете в виду, «забрали»?

– Ты по-сербски понимаешь?

– Да.

– Что у тебя по сербскому?

– Твердая тройка. Колунджия и Машанович говорят, что я хорошо пишу, но я не люблю домашнее чтение, скучно, ух, и так далее, ну вот и...

– Тогда ты знаешь, что значит забрали. Пришли люди, позвонили, я открыла. – Товарищ Зекич дома? – Дома. – Где он, знаете? – Он прилег после обеда. – Хорошо, разбудите его и скажите, чтобы собрался. Чтобы не поднимать шума, товарищ, – так и сказали, их было трое, примерно его лет.

– И?

– И ничего. Я вошла в комнату. Он уже проснулся, услышал звонок. Кто там, возмутился, тяжелый со сна, кто звонит в такое неприличное время. Он не любил, когда его выдергивают из послеобеденной дремы. Никто уже приличий не соблюдает, человек в собственном доме прилечь не может, так он сказал. К тебе какие-то трое, ответила я, на что он спросил, со службы ли они. Понятия не имею, я бы сказала, что да, выглядят похоже, мрачно и таинственно, на что он без дальнейших расспросов встал, застегнул верхнюю пуговицу рубашки, затянул ремень и пошел к дверям. Там – я слышала – они о чем-то поговорили, он вернулся, взял из шкафа плащ, пистолет и документы, посмотрел на меня

дольше, чем обычно, легко поцеловал в щеку и сказал, пришли за мной, не спрашивай ничего, я тебе сообщу, как только смогу.

– И сообщил?

– Нет. Если бы мог, то сообщил бы, я знаю. Он такой, ответственный.

– Но что нам теперь делать, искать его где-нибудь?

– Это будет неразумно. Будем ждать. Знаешь... – она замолкла, как бы в раздумьях, не сказать ли мне что-то еще.

Я молчал, Шваба, наверное, уже весь извелся, томясь в ожидании внизу, перед подъездом.

Она понизила голос:

– Знаешь, я тебе кое-что скажу, но только никому ни слова.. Ты еще молодой, но поймешь.

– Что?

– Твой дядя Зеко был на Голом острове¹. Ты слышал о Голом острове?

– Слышал, – соврал я наудачу, чтобы казаться старше и серьезнее, чем был на самом деле, я понятия не имел, что это – Голый остров, меня интересовали *The Animals*, Брюс², Уаймен³, Паппаларди⁴ и *The Troggs*, тогда я впервые услышал эти два слова. В сущности, может, я и раньше краем уха слышал что-то подобное, но не придавал этому никакого значения.

1 Остров в Адриатическом море, лагерь для политзаключенных, мрачный символ террора и репрессий.

2 Брюс Ли (1940–1973), гонконгский и американский киноактёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик боевых сцен, мастер боевых искусств, философ.

3 Билл Уаймен, бас-гитарист, участник группы «Rolling Stones».

4 Феликс Паппаларди, американский музыкальный продюсер.

– Он там провел целых два года. Мы только-только поженились, понимаешь, после войны далеко не всем нравилась эта наша любовь, и тогда за ним пришли, и не так уж тихо, как в этот раз, и увезли его в неизвестном направлении. Первое письмо я получила, только когда ему вынесли приговор. И ждала его. Он получил пять лет, но через двадцать с чем-то месяцев его реабилитировали, похоже, обвинение было ложным, вроде бы, какой-то Газикалович что-то о нем ляпнул, они особо не разбирались, гребли всех подряд. Его вернули на службу, повысили, мы получили эту квартиру, а потом сняли их начальника, ты это знаешь, слышал, и тогда их всех скопом, коллективно, отправили на пенсию. Хорошо им, но и нам неплохо, если по правде.

– И чего они теперь опять хотят?

– Не знаю. Но я должна была тебе все это рассказать. Он тебя, правда, любит, постоянно повторяет, этот мой Цвика, у-у-у, отличный рыбак. Шваба тоже неплох, только его интересуют другие вещи. Но Цвика, есть в нем что-то такое. Не говори никому, все кончится хорошо. Раньше или позже, отпускают потихоньку... И подожди, вот тебе ключ от замка на лодке, свободно катайтесь.

На улице Швабы не было. Что-то мы заговорились, тетя Биля и я. Я постучался в Швабино окно, он жил на первом этаже длинного дома, назывался «четверка». Показалось его разгневанное лицо:

– Я тебя ждал, пока чуть не описался. Что случилось?

– Ничего особенного. Зекич уехал на родину, – соврал я своему лучшему другу, легендарному барабанщику в фазе становления. – Тетя Биля говорит, что ему

времяшлось отремонтировать дом, знаешь, как это далеко, пятьсот километров, неизвестно, сколько там пройдет. Когда вернется, тогда вернется, а нам он оставил ключ от лодки.

Той осенью мы со Швабой крутились вокруг острова Велико-Ратно, когда взбредет в голову, «пента» топлива ест мало, практически ничего. Сразу после школы мчались на новую набережную возле гостиницы «Югославия», там и до сей поры имеется причал и зимняя стоянка для лодок, запрыгивали в военную резиновую лодку и исчезали в наших личных джунглях, в «амазонии» близ нашего квартала. Мы ловили все подряд, Шваба однажды поймал сома на семь кило, я – бесчисленное количество шук и иногда судака, а если выпадал день совсем без улова, а такие дни тоже считаются рыбалкой, то воровали рыбу из рыбачьих мереж, – мы знали места, где их ставят, и всего-то делов, в удобный момент, чтобы никто нас не заметил, обыскать эту ловушку. Мы никогда не брали больше одной-двух рыббин, чтобы никто не заметил воровства. Однажды нас даже остановила речная полиция, они наорали на нас, что мы хулиганим, марш домой, что вы тут шастаете по реке, орал старший из них, я готов поклясться, что именно он потом стал министром, одно лицо, – в следующий раз оформлю вам задержание, пусть ваши отцы хоть сто раз генералы. И на этом все закончилось. Рыболовные билеты тогда никто не спрашивал, милиция в те времена практиковала строгость более тонко...

Зекич вернулся через три месяца. Я был на родине, сообщил он, не моргнув глазом, и опустил все дальнейшие подробности, хотя по моему взгляду мог понять,

что я знаю гораздо больше, чем Шваба, но молчал, а я ни о чем не спрашивал, вот так. Служба службой, а рыбалка рыбалкой, вот и весь сказ. Шваба, само собой, так как ни о чем не знал, спросил его, водится ли рыба в той его речке, как она там называется, на что Зекона спокойно ответил, что сейчас ее больше, чем когда-либо, никто десятилетиями не рыбачил на той воде. Только выдры и птицы. Рыбалка в тех краях в принципе считается потерей времени, рыбачат только безработные и лодыри, те, что любят бездельничать и ротозейничать, а те немногие, кто остался, надрываются в поле или маются со скотом. Да и жалко мне той рыбы, форели, гольцов, усачей и голавлей, добавил он, пусть растут в том раю, с ними как-то веселее и не так пусто, как оно обычно и есть. Лучше я научу вас ловить окуней, вот это – рыба, пусть и небольшая, но царская, бывает, что и мелкая, но и мелкая рыбешка радуется человека.

Ну, пусть нас научит. И он меня научил, на все времена, а я думаю, что и Швабу, который через пару лет переметнулся в другие воды и выбрался в большой мир, а я все так же томлюсь в лодке, один, без Зекича... И я ни на что не променяю те пять минут, когда из Дуная встает солнце. И крупный окунь, братец мой, бобыль, редко его встретишь в малой стае. Чем рыба мельче, тем стая больше. И пока окунь растет, становится все глазастей, горбатеи и высокомерней. Не ахти какой пловец, обычно он держится возле какого-нибудь камня или кочки, скучает в затопленных ветках и поджидает добычу. Поджидает и дожидается. Во-первых, стало быть, надо найти правильное место, тихую заводь или совсем спокойное течение, затопленный ствол де-

рева со множеством цепляющихся сучьев. Там, где цепляется крючок, тут и рыбу подцепишь, на чистом месте ловить нет никакого смысла. Затем хорошая наживка, мелкая рыбешка, толстый речной червь, хвост уклейки... спрячешь крючок, плюхнешь, где надо, на поплавок или грузило, особой роли не играет. Зекич любил глубину, а я люблю поплавок, и, как только окунь заглотит наживку, он ее уже не отпускает, забирается в самые густые ветки, оттуда его надо в нужный момент вытащить.

Нарыбачились мы в те годы, ей-богу, в результате рыбацкого учения, которое не уступает ни одной философской системе, Зекич, Шваба и я. Окуней завались, хоть из лодки, хоть с берега, хоть в рукавах, в заливах Панчевачки-Рит, Тереза, Црвенка, Бесни-Фок, Сибница, Вага, Дубока-Бара, Ябучки, Визель, Караш, что на Дунае и что на Тамише. Потом каждый пошел своей дорогой... Я переехал из Квартала 21, бросил бас-гитару и исполнил пророчество Джамбасовички, не переставая ходить на рыбалку все те запутанные, переплетенные десятилетия, которые неосяземо загустели и затвердели во время, называемое жизнь. Все более одинокий. Прав Мухика¹, когда говорит, что человек – как кошка, и что ему тяжело жить в одиночестве, но именно он провел в тюремном застенке десять лет, разговаривая только с муравьями, и сам, как муравей среди них, так почему мне должно быть хуже, в лодке, под открытым небом, под разговоры с окунями и неизвестными силами.

1 Хосе Альберто Мухика Кордано, президент Уругвая в 2010–2015 гг.

Зеко старел аристократично, и с ним тетя Биля. Виделись мы все реже, изредка я им звонил, справлялся о здоровье, а Зеко «как дела, коллеги», поздравлял с праздниками, до тех пор, пока... Я проводил прекрасную Билянну в последний путь, в крематорий, и с Зеко простился, вместе с небольшой группкой его еще живых ровесников, восьмидесятилетних, я был среди них единственным пятидесятилетним юношей. Шваба задолго, задолго до этого уехал в Беркли учиться на ударных, а потом принялся колесить по всему земному шару... Изредка я где-нибудь читаю, что теперь он играет с тем-то и тем-то, последний раз он мне звонил, когда в позапрошлом году приезжал в Белград с Коке-ром, и Джо, глянь-ка, – уже севшая батарейка. Как ты, старик, что нового, – спрашивал он с сильным американским акцентом, давай на борт, я тебя внес в список, – но мне не хотелось, если уже раз от чего-то отказался, отказался навсегда. У него есть мой телефон, у меня – один из его адресов, на который он получает почту, хотя всю ее открывает агент или менеджер, так что это, считай, что ничего, «трио в лодке» распалось, да и сама лодка, та, черная, резиновая, давно уже истерлась и распалась на куски, дно из авиационной фанеры сгнило, «пента» разобрана и продана на запчасти.

Годы, годы, годы, годы. А сегодня... эх, сегодня...

Сон в летнюю ночь

Это случилось в саду загородного дворца одного жившего в давние времена князя, поэта, много лет назад. Только что закончилась война, одна из тех бессмысленных грязных войн, каковы, впрочем, все войны, когда уровень мерзости, ужаса, мрака и безумия возрастает соразмерно пролитой крови. Близилась полночь, на просторном дворе, полном экзотических растений, окруженном высокой кованой оградой с заостренными, как у воинов, пиками, устремленными к всевышнему, режиссер Божидар Джурович никого не застал. Повсюду валялись опрокинутые стулья, зрители из-за неожиданно хлынувшего проливного дождя разбежались в один миг. Сначала где-то поблизости грянул гром, а потом разверзлись хляби небесные, и пьеса знаменитого мужа Анны была остановлена.

Ненастье не продлилось и часа, но этого оказалось достаточным для переноса спектакля на другой день, а, по правде говоря, навсегда, потому что труппа, гастролировавшая по взморью, назавтра переезжала в другой город. Что была не велика потеря. Актерам, несмотря на радость всеобщего веселья, так необходимого в смутное время, уже немного надоело каждый вечер, семь дней подряд, на одном и том же месте, повторять один и тот же текст, хотя все были воодушевлены игрой и тем проклятием ожидания аплодисментов,

которые были единственным оправданием и смыслом этой безумной профессии, иными словами, мольбы – *я ищу любви*¹. Всегда, всюду и в неограниченных количествах.

Однако *путь истинной любви тернист*, к тому самому магическому «да» приходится идти, с трудом преодолевая миллион препятствий, ибо – *любви людской сопутствуют преграды*. И Джуровичу это было хорошо известно, ведь он шел к своему «да» годами. Обогнув большую лужу, зеркальная гладь которой была настолько тиха, что он увидел в ней свое отражение-тень, – впрочем, тень порой подсказывает осмотрительному хозяину, *тому, что на нее ступить не смеет*: «Прочь, тень ужасная!», – и присел на край единственного не опрокинувшегося стула. Ему нравилась эта тишина в саду старого князя. В своем деле он больше всего любил именно ее, тишину, воцарявшуюся после всего, после волнения, шума и безумия, аплодисментов и гула зрительного зала. Да, да, именно ее, тишину, которая опускается над миром, всех успокаивая и всех примиряя. Никто его никогда ни о чем таком не спрашивал, вообще никто, а если бы ненароком и спросил, он бы ответил, что занимается своим ремеслом в первую или в последнюю очередь, совершенно все равно, но именно ради тишины. Той самой, окончательной, переполняющей и искупающей, всепроникающей, не требующей слов, более того, когда слова излишни. Неуместны. Бессильны. Достаточно любой

1 Здесь и далее цитаты из пьес У. Шекспира «Сон в летнюю ночь», «Два веронца». «Макбет», «Ромео и Джульетта» в переводах О. Сороки, В. Миллера, П. Когана, А. Флори, Т. Щепкиной-Куперник.

воды – будь то лужа, ручей, озеро или море, что тоже не важно, и тени, которую постоянно попирает ее хозяин (хотя, кто тут кому хозяин?) и вообще все, и которая хочет, чтобы ее оставили в покое.

Джурович осмотрелся в тишине. После дождя в свежем воздухе струилось необычное благоухание привезенных со всего света растений. А запахи, как известно, пробуждают особые мысли. И так Джурович, оставшись один, без тени, в безмолвии княжеского сада, в окружении растений, задумался о пьесе, которую он никогда не поставит, – всегда есть пьеса, которая не увидит театральных подмостков, и какая-нибудь нерассказанная история, если уж совсем по честному.

Признаться, эта история реальная, а пьесы как не было, так и не будет, ни сейчас, ни потом. История об одном «да».

На сцене, чего Джурович в задумчивости не замечал, царила неразбериха. Кто-то из актеров, возможно, виртуозно-неуклюжий ткач Основа, в панике покидая сцену (а паника – это ни что иное, как танец Пана, того самого, который – *веселый дух, ночной бродяга, шалый Пэк*), свалил кулису, которая должна была изображать дворцовые ворота, и теперь эта самая кулиса валялась на полу, опрокинутая лицевой стороной на пол, обнажив деревянный каркас, на котором было натянуто полотно, изрядно набухшее от воды.

Оттуда уже больше никто не выйдет.

Этот август, черт его знает, как и почему, выдался дождливым, будто здесь тропики, а не Средиземноморье. После прохладного утра и жаркого полдня, которые горожане называли *пеклом*, когда от влаж-

ности люди едва дышали, с усилием, что называется, жабрами, словно кефаль, только что выловленная сетью из мутной тины, где-то после обеда и неременной сиесты, называемой местными *мертвым часом*, с гор из укрытия опускались с точностью до минуты, хоть часы проверяй, низкие хмурые облака, похожие на плотные мазки краски на любительской картине маслом; издалека возвещая о своем появлении раскатами грома, напоминавшими жителям и приезжим, а особенно беженцам, совсем еще недавнюю самую что ни на есть настоящую артиллерийскую канонаду; бездомные, павшие духом, не имеющие документов, они, очнувшись в поту от неглубокого послеполуденного сна, приходили в себя, не готовые к встрече с явью. Проклятая духота доводила их до необъяснимого и с трудом переносимого одуряющего невротического транса, того *морoka*, что терзает нервы всех и каждого.

А потом, под вечер, к счастью и всеобщему облегчению, снова как будто проясняется, откуда ни возьмись, с моря тянет легким *бризом*, приносящим приятную свежесть, и город снова оживает, а вместе с ним и сад старого, давно почившего князя, поэта и воина, где совсем недавно новые непризнанные поэты и *самовлюбленные выскочки* читали свои стихи, где и разыгрывались легкие веселые летние представления, полные звонкого смеха и актерской бравады.

Для того чтобы избежать всех этих аномалий и превратностей погоды, режиссер Джурович устраивал репетиции с самого утра, из-за чего актеры, хронические сони, начали было протестовать, но потом привыкли, а что им оставалось, ведь театр – это особый род войск,

известно, кто генерал, кто знаменосец, а кто башибузук, кто пушечное мясо, а кто служит на конюшне. В саду благодаря изобилию растений зной наступал с опозданием, каменные стены начинали источать жар, только когда их со всей силы припекало солнце, а так от них исходила приятная солоноватая прохлада. Джурович – чешская школа – принадлежал к числу четких, как часы, режиссеров, которые знают, чего хотят, и благодаря то ли интуиции, то ли здравому смыслу, следуют глубинным, скрытым, а оттого еще более веским правилам драматургии, – не раздавал актерам приказаний, не читал нотаций, а давал им возможность играть, сам следя лишь за тем, чтобы они не путали текста. Забыв обо всем, они окунулись в работу, собрав все в единое целое, так что *сон в летнюю ночь* наконец-то мог бы начаться.

Актеры, жаждущие любви, они ведь, как дети, потому что *любовь – ребенок*, – играли увлеченно, с задором, отрабатывая деньги, уплаченные публикой за билеты, воздавая *неудачливому охотнику на оленей*, отдавая и Джуровичу, и зрителям все, на что были способны, с каждым вечером беря новую высоту искусной игры; слух об их мастерстве разлетелся со скоростью ласточки по этой измученной войной стране. Играли шесть дней подряд, не объявляя премьеры; публика, взалкавшая красоты, стекалась отовсюду, город жил карнавалом... Импресарио потирал руки, и, воспользовавшись слухами, что спектакль превзошел все ожидания, сразу пустил в продажу все свободные места на следующие спектакли; в момент были распроданы даже самые плохие, неудобные, и все шло своим чередом, что лучше и не бывает.

Однако чтобы все долго оставалось на своих местах, и течение жизни шло гладко, как по писаному, никогда не бывает. На шестой день погода сбилась с заведенного ритма, ежедневный сценарий – прохладное утро, жаркий полдень, послеполуденные ливни, вечерняя свежесть, – сбился, *свихнулся*, как говорили беженцы. На эти неурядицы наложились и внутренние проблемы: у главного артиста, того, что играл Лизандра, внезапно случилось воспаление желчного пузыря, и вместо него должен был вестись другой исполнитель, не менее даровитый, но рангом ниже, и едва все это как-то улеглось...

Ах, этот проклятый дождь. Утренний рассвет на шестой после первого ненастья день выдался хмурым, без солнца. Облака, как застывшие в полете крепости, были почти неподвижны. Сначала гром оглушил своей бомбежкой все окрестности, а потом частые автоматные очереди ливня поливали вмиг опустевшие улицы, дома, перекрестки, парки и порт. Зрители, вооружившись зонтиками и дождевиками, в назначенное время все-таки собрались и терпеливо ожидали у входа в княжеский сад. И правда, где-то с первыми сумерками показалось, что дождь затихает. Похоже, перестал, заметил кто-то. Ворота открылись, артисты поспешили в гримерки и костюмерную; зрители, с трудом доставшие билеты, изо всех сил стараясь не испортить себе настроения, постепенно начали заполнять театр.

Вдруг, словно по чьему-то щелчку сверху – что возможно, поскольку и *Deus ex machina*, прежде чем в решающий момент себя явить, любит понаблюдать за тем, что напридумывал сын перчаточника, что за комедию

ломает он на сцене, — дождь прекратился, и представление, постепенно набирая обороты, началось, чтобы, в конце концов, и завершиться, под ожидаемые овации. Ах, любви в этот шестой вечер хватило всем и сполна. С одной лишь оговоркой, едва ли заслуживающей упоминания. После спектакля к Джуровичу, который уже готов было внимать своей главной симфонии тишины, подошел пожилой, изможденный человек, лицом похожий на старого князя, *вылитый* он, и, запинаясь и заметно волнуясь, признался, что ходил на все спектакли все шесть дней подряд и сожалеет, что не сможет прийти и в седьмой раз. Джурович, нуждавшийся в покое, был немного рассеян, и, несмотря на то, что похвала старика была ему приятна, не сразу понял, что именно тот, собственно, сказал, и даже не придал этому значения, ведь после спектакля каждому есть, что сказать.

А ему хотелось помолчать.

Но на седьмой вечер, когда ожидаемый после полудня ливень порядком запаздывал, он вспомнил слова старика. Ему не нужны были никакие объяснения, хотя разное приходило в голову, метеозависимость, к примеру, потому что и у него всякий раз к перемене погоды постреливало в правом колене. Или вот, допустим, метемпсихоз; была у него актриса со странным именем Дидо, которой требовалось два дня, чтобы выйти из образа, к примеру, Гермии. После спектакля она продолжала изъясняться репликами своей героини, и все думали, что она немножко чокнутая, словно двенадцатилетняя девчушка, которая, чтобы узнать *мечты, томленья, слезы, желанья, сны*, еще не обежала вокруг куста лещины, ну и что с того, просто, оказалось,

артистка не сразу была готова выйти из образа: рабочая температура держалась у нее еще долго после выключения мотора, да к тому же, не пойми откуда, Джуровичу пришла в голову телепортация, путешествие во времени... Мы все хотим оказаться где-нибудь в другом месте, далеко отсюда или в далеком прошлом... Самая что ни на есть ерунда и мелкие глупости, в сущности, что-то совсем будничное. Старик с восковым лицом, просто хотел высказать ему заслуженные восторги, чтобы затем исчезнуть, неведомо куда, ну а то, что назавтра вечером случилась гроза, так это всего лишь стечение обстоятельств. *Хм, стечение обстоятельств, что бы это могло значить, не обязательно, но все-таки – что эти маленькие летние погодные беспорядки следуют какому-то порядку!*

Той ночью, седьмой по Писанию, ничто не предвещало дождя. Пролился вчера, заметил кто-то, должно быть, сегодня вечером уже не будет. И правда, все началось, как надо, уже послышался первый смех и на сцене и в зрительном зале. Какой-то чудака, впервые оказавшийся в театре, а такие всегда находятся, с кем что-то происходит впервые, захлопал от восторга посреди первого короткого монолога исполнителя главной роли, который играл впервые, но, несмотря на это, не дал себя сбить. Не упустил случая и отвел душу, после чего, и на сей раз обошлось без руки Всевышнего, занятого, как известно, другими делами, а не этим прожигателем жизни из елизаветинской эпохи, на раз-два-три небеса

1 Цитата из поэмы «Горный венец» черногорского правителя и поэта Петра II Петровича Негоша. Перевод Мих. Зенкевича.

вновь разверзлись, и открылся такой пролом в облаках, что продолжать игру не было никакого смысла. Шлепая по только что образовавшимся лужам, зрители тут же разбежались кто куда, актеры забились внутрь помещения, потом приехал микроавтобус и отвез их в гостиницу. Только режиссер Джурович оставался стоять под дождем, рассерженный и вместе с тем возбужденный, словно отбывал незаслуженное наказание. И кто знает, сколько бы он так стоял, если бы из боковых дверей не вышла актриса Дидо, точнее сказать – Гермия, до которой все медленно доходило, она спросила, зачем он стоит под дождем, и позвала его поскорее спрятаться в укрытии, ведь, что тут поделаешь, случилось то, что случилось. Там они проговорили о всякой всячине до глубокой ночи. Затем, проводив Дидо, Божидар вернулся в сад. По дороге он увидел в луже свое отражение. *«Ступай»*, – сказала ему тень, – *«оставь меня одну»*, – и он ничего не имел против этих беззвучных слов, ему, хм, самому хотелось побыть в одиночестве, да и редко случается договариваться с собственной тенью.

Он присел на стул, который почему-то не опрокинулся, и, внимая тишине, вспомнил один случай, которому никогда не суждено было превратиться в пьесу. История хорошая и занимательная, достойная того, чтобы поведать ее, пусть и не вдаваясь в подробности. Не Боккаччо, не Шекспир, хотя, на первый взгляд, похоже, впрочем, нет, не похоже. Джурович на пути к своему Да устал от назойливого мелькания величайшего из великих, а также от *выскачков*, дельцов от театра, которые, расталкивая друг друга локтями и прикрываясь великим именем и так называемым новым

прочтением или бессмысленной «интерпретацией», извлекали и выставляли возвышенное на поругание надутым патологическим эгоцентрикам, для которых единственным условием сохранения собственной многозначительности было наличие кого-то из великих рядом, как... как, прости господи, *охотник* на рогатую дичь.

Потому что, когда я говорю о Шекспире, я и сам становлюсь Шекспиром.

Естественно. О да, разумеется.

И хотя это и не Шекспир, и не Боккаччо, а могло бы так случиться, что эта история всплыла откуда-то из тех времен, случайно, о чем не следует особо распространяться. Он услышал ее много лет тому назад от своего старого пражского профессора, исследователя драматургии эпохи Возрождения, который изрядную часть своей жизни провел в архиве знаменитого средиземноморского города, занимаясь историческими изысканиями, как на золотых приисках, и это вовсе не метафора, а самая что ни на есть правда: история – это золото, наваждение и озарение одновременно, одного без другого не бывает. Джуровича эта история привлекала как раз потому, что во всем его превосходила. Да, да, суть остается недосказанной и невыраженной только в тех рассказах, которые с трудом можно поставить на сцене. С трудом, либо вообще никак. Ибо *любовь всегда сильнее холодного рассудка, любовь с рассудком редко живут в ладу*, они друг в друге не нуждаются. А когда по воле случая они соединяются, то перестают быть тем, чем на самом деле являются, и уже рассудок не рассудок, и лю...

Так вот.

Много столетий назад жил в одном городе знатный молодой дворянин, отпрыск уважаемого древнего рода, и мог он выбрать невесту себе под стать. Но нет, не тут-то было, засмотрелся он на бедную горожанку, красавицу, самую младшую из четырех сестер, в доме у которых и на добрый обед не было, а не то, что на богатое приданое. Однако они обручились, сказали друг другу *Да*, и ничто не могло эту клятву нарушить, ни то, что богатый отец того дворянина отправил околдованного любовью сына в кругосветное плавание, мол пусть земной шар обогнет, мир посмотрит, привезет цветок камелии и когда остынет от сердечной страсти, женится на ровне, и ни то, что отец отослал всех четырех дочерей-красавиц в монастырь, чтобы вместо сына человеческого возлюбили они Сына Божьего и Девы Марии. Прошли годы, возмужавший и уже не столь юный дворянин вернулся домой, похоронил родителей, вступил в наследство и, сгорая тайной страстью, разузнал, где его суженая. Да она же вместе с сестрами в монастыре, у самых городских стен, перед извечным выбором *умереть или связать себя безбрачия обетом*. Он послал ей весточку и вскоре получил ответ. Она ждала, молилась за него и призывала к себе, — *тому, кто ждет, в урочный час приходит все*. Она назначила ему свидание у боковых ворот, у скрытого в ночи узкого прохода, спустила веревку, и он поднялся, спеша навстречу объятиям своей возлюбленной. Никто с уверенностью не мог сказать, сколько дней и лет это продолжалось, в архиве сохранился лишь донос соглядатая, что знатный господин, — во всяком случае, так рассказывали

об этом деле, — любовь свою дарил и сестрам своей избранницы до тех пор, пока одна из них не понесла, и наказание настигло грешников. Церковные власти провели тщательное дознание, которое грозило остракизмом и постригом, клеймением, изгнанием, отлучением от церкви и даже сожжением на костре, а потом была устроена засада, дабы человека, видевшего Сулавеси, схватить *in flagranti* и подвергнуть заслуженному наказанию.

По другой версии, также не стоящей особого упоминания, бывший мореплаватель по какой-то причине не смог в назначенный вечер явиться на свидание со своими возлюбленными и попросил своего лучшего друга пойти вместо него. Ждет тебя рай, должно быть, объяснил он ему, однако лучшего друга встретили стражники, скрутили, как только он перелез через ограду, и тут же, в назидание другим, не спрашивая, ни кто он, ни откуда, ни как здесь оказался, отрубили ему голову. Спустя минуту окровавленная голова вылетела из окна, словно мячик, и покатилась по брусчатке в сточную канаву. На утро третьего дня избранница дворянина вместе со своими сестрами была замурована в нижних покоях, чтобы в молитвах и слезах провести здесь остаток дней своих, а пару месяцев спустя после кровавого события новорожденное дитя было оставлено в корзине для сбора винной ягоды на крыльце сиротского приюта...

Через тридцать лет по тем же городским улицам бродил бездомный, похожий, как две капли воды, или, как говорили местные, *вылитый*, тот самый молодой дворянин, который в ту же злосчастную ночь, при

известии о смерти друга, повесился. Готовый сюжет о любви и смерти, о свете и проклятии, о неисповедимых путях любви, каковыми должны быть все настоящие истории на этом свете, подобные тем, что с легкостью сочинял знаменитый муж Анны, тот самый, что завещал ей «вторую по качеству» кровать¹. Об этом рассказал Джуровичу его профессор, и, не дав времени расспросить его о подробностях, сам канул в вечность, где всем нам, *увы* и *ах*, в конце концов, придется расстаться со своей тенью.

Сидел режиссер Джурович, погрузившись в тишину и думая о том, что он никогда не сможет, не сумеет, не получится у него написать такую пьесу по сотне объяснимых и тысяче и одной необъяснимой причине. Тот, кому лишь однажды удалось создать нечто подобное, родился под небом Стратфорда.

Так просидел Джурович всю ночь, не заметив, как рассвело. В августе, а это каждому лунатику известно, ночь все еще короче дня. Придя в себя, принялся он мерить шагами сад летнего дворца старого князя и оказался у открытых настежь чугунных ворот. Ранним утром еще спящий город коротко блеснул редким сиянием умытых фасадов, прежде чем самый длинный месяц года, да, да, тот самый, что кичится именем императора, словно ни вчера, ни позавчера ничего не происходило, продолжил бесноваться зноем, от которого закипает мозг, а его владелец и без того имеющий склонность к разному вздору, начинает погружаться

1 По завещанию Шекспира «вторая по качеству кровать» предназначалась его жене.

в галлюцинации сверх всякой меры. И все, что случилось минувшим вечером, включая сам спектакль, который, *и-да*, хотя и был прерван, продолжился, казалось Джуровичу обманом зрения.

И тут, кто бы знал почему, он повернулся и той же дорогой возвратился в сад. Прошел через ворота, через которые он всего несколько минут назад вышел, обогнул лужу, где не было ни его отражения, ни тени, потому что свет падал с противоположной стороны, огляделся, словно ожидая, что, откуда ни возьмись, явится тот самый молодой дворянин в сопровождении друга, четырех сестер и того оборванца, дворянского сына, выйдет на опустевшую и оставленную в беспорядке сцену, повернется в тишине опустевшего театра и поклонится незримой публике. Но ничего не произошло, лишь парочка горлиц, птиц, которые до гроба верны своим спутникам жизни, поклевывали кизяки осла, которого должны были в нужный момент вывести на сцену, однако на вчерашнем спектакле до этого дело не дошло, и сразу после антракта хозяин загнал его в фургон и отвез, куда следовало. На сцене валялся разбросанный реквизит. В глубине двора у ограды пребывал в одиночестве большой старый якорь, знак того, что и отсюда кто-то когда-то выходил в море, и хранили молчание два древних разоренных саркофага, кто его знает, откуда и зачем оказавшихся в этом месте.

Режиссер Джурович оглянулся еще раз, будто проверяя, не спрятался ли кто в потаенных уголках княжеского сада. И, убедившись, что никого нет, вышел на сцену. Затем поклонился пустому зрительному залу, чтобы в следующий миг услышать самого себя, произ-

носящего невесть откуда взявшееся, из каких глубин сознания и подсознания, короткое, гортанное, но очень громкое:

– Да.

Почти вопль.

– Да, – повторял Джурович еще, и еще, и звуки эти застыли в воздухе, как будто, как ему казалось, не хотели растворяться.

– Да! Да.

Он остановился, поднял голову, словно глотая воздух или подчеркивая неведомое. В это время за его спиной открываются двери летнего дворца, но у него нет сил, чтобы оглянуться и посмотреть, кто бы это мог быть. Он лишь уповал, всем сердцем, что этот кто-то, наконец, вышел из образа.

А жаль, озарило его, когда он подумал о том, как избавиться от непереносимого упования, жаль, что вчера мы прервали спектакль, здесь акустика потрясающая. Здесь *да* действительно звучит как Да. Так, наверное, из-за облаков низвергается Глас Божий, после тысячелетнего безмолвия, лавиной беспричинной любви, – а только такой и может быть истинная, – он, наконец, решается произнести:

ДА. ДА.

Двое

Зимние предрассветные сумерки, конец февраля. Человек в форме железнодорожника, той самой – с красной фуражкой и фонарем, неподвижно стоял на перроне, пока поезд медленно, с неохотой, будто живое существо, вползал на вокзал. Обшарпанное здание почты, еще окутанное полумраком, с большими часами, показывающими то же время, что и тридцать с лишним лет назад, точными два раза в день, было первым, что Павле Гробольшек, просыпаясь, увидел в окно купе. В эту пору тянувшегося затишья после новогодних праздников, люди путешествуют редко и без особого удовольствия; в ночи, всюду вдоль путей, поблескивал наст. Гробольшек потихоньку встает, намереваясь достать чемодан. С ним от Любляны, не проронив ни единого слова за все эти ночные часы затянувшегося покачивания, прибыли молодая худошавая женщина, некрасивая, с лицом, которое само по себе было законченной историей, и какой-то безобразный человек, приблизительно его ровесник, лет семидесяти, с застывшей усмешкой на устах и высоким ортопедическим ботинком на левой ноге. Во время пути женщина даже не раскрыла рта, чтобы хоть что-то сказать, не считая нескольких нечленораздельных звуков, которые, будто завершая некую мантру без слов, пробормотала во сне; она уснула первой и проснулась последней. А ро-

весник периодически покашливал, резко, с неприятным запахом; в сизом полумраке ночного купе Гробольшек мог только предположить, что тот все время, не сводя глаз, его разглядывает – от этого ощущения им овладевал неприятный озноб...

Колеса долго и тягуче взвизгивали, локомотив въехал в тупиковый упор перрона, состав привычным отбрасывающим назад рывком наконец-то остановился.

Конец пути.

Через открытые двери вагона Гробольшека обдало кисловатым запахом белградского вокзала, даже столько десятилетий спустя сохранившимся где-то глубоко в его органах чувств – и в носу, и в голове. Ни февраль, ни ветер, ничто не могло справиться с этим запахом; вокзалы во всех городах мира, как и человеческие жилища, различаются, прежде всего, по запаху; Белград пах по-белградски. В морозном воздухе вибрировал гнусавый невнятный голос диктора, «приятного пребывания в нашем городе» и прочая дребедень. Гробольшек поднимает свой чемодан, вежливо прощается со спутниками, которых больше никогда не увидит, хотя поклясться в том никто не может, и именно в этот момент замечает, что у его ровесника один глаз неподвижен, фарфор, оцепенело уставившийся на него, сам, будто не принадлежит этому человеку, о котором ему ничего не известно. Но, этот глаз... Человек был весь в черном, Гробольшека, сконфуженного этим пустым взглядом, на мгновение посещает мысль: в чем, после исполненного дела, могла бы состоять привлекательность посещения похорон, но тяжесть чемодана возвращает его в реальность. Он сходит с поезда и осматривается: к едва раскинувшемуся

полотну дня приклеивается бледный утренний свет. Рядом шли редкие прохожие; резкий ветер гонял несколько брошенных бумажек...

Там, из-за старого музейного паровоза, выставленного на пьедестал рядом с главным зданием вокзала, ему открывался большой город, откуда он уехал давно, полжизни назад, в другую страну, на языке которой он много лет говорил и на нем же видел сны. И когда он закончил там все дела, которые следует совершать согласно уникальной траектории каждого среднестатистического человека со средней продолжительностью жизни, он захотел однажды, прежде чем оплатит членский взнос в саскачеванском обществе любителей пепла, посетить места, из которых однажды – когда это было? – сбежал. Все эти края больше не были в одном государстве, и это ощущение «по всему миру», давно им овладевшее, будто бы в канадской бесконечности, одно, скажем, в Блэк-Лейке, а другое – в папуасской глуши, например в Гвирибиане, хотя их разделяла лишь одна ночь пути на разболтанном поезде через четыре новые границы, немного его удивило. Нет, не слишком, по правде говоря, лишь чуть-чуть, ведь если тебе семьдесят, тебя уже мало что может по-настоящему удивить, все фильмы просмотрены и все игры сыграны...

Отправиться в путешествие, к которому он уже и так готовился, двумя-тремя месяцами раньше, чем планировалось, в канун настоящей весны, его заставило известие о том, что в Толмине, откуда был родом его отец, умер его старший сводный брат, Матьяж; тому уже давно перевалило за восемьдесят, и он славно пожил, ни разу не выбравшись из своего родного за-

холустья даже в Любляну, чтобы удостовериться, что Бернарда Маровт действительно существует. С трудом верится, что кто-то вроде Бернарды вообще появился на белом свете, это на грани невероятного, чуда или провидения, но хорошо ведь, если призадуматься, что ни ум, ни красота не выбирают, ни где им родиться, ни где жить. Поскольку никого из ближайших родственников в этой части мира больше не было, все, *хм*, давно уже отложили столовые приборы и надели картонные башмаки, и поскольку не было больше никого, кто бы в Толмине позаботился о похоронах Матьяжа, Павле, найденный, лучше сказать «прогугленный» по фамилии в далеких забытых прериях, без долгих размышлений собрался в уже запланированное путешествие: зная, что с этим незнакомым человеком, который по воле судеб был его сводным братом, его ничто не связывает, кроме простого факта, что благодаря одному и тому же отцу – которого он, кстати говоря, едва, будто сквозь сон, помнит, – тот существует в северном полушарии, и будет, по крайней мере, правильным, если он его проводит в последний путь, раз уж больше некому. У пожилых людей неизбежно возникает сентиментальное отношение к происхождению и семейным историям, а даже если их нет, за исключением наследственных черт, то еще сильнее и гораздо раньше.

И Павле Гробольшек не был исключением. Он прибыл в Толмин в день похорон, заплатил священнику и санитару в морге, сколько было нужно, мгновение посмотрел на незнакомое лицо покойника, неподвижное, с тем выражением болезненной веселости, что вся эта так называемая жизнь, наконец-то закончилась

(в последний миг некое облегчение испытывают и живые, и мертвые!), – и потом вспомнил.

Да, он вспомнил. Сколько женщин в Белграде могут зваться Весна Телбан?

В части страны, где он родился и прожил первые пять-шесть лет, у него не осталось ничего, он был еще слишком мал, чтобы запоминать, единственное – то, что мать разговаривала на одном, а отец на другом языке, и что дети во дворе называли его каким-то издевательским прозвищем. Позже, когда он, рос в Белграде, смог связать концы с концами. Его отец пережил великую войну в беженцах, прячась в селе под Космаем, а когда эта война закончилась, за ним, чуть меньше года спустя, в Толмин пришла пятнадцатилетняя космайчанка, с Павле в животе, на войне бывает и любовь, о, да, и, соответственно, пламенная. Отец Павле оказался в весьма неловкой ситуации, ведь в Толмине у него уже были жена и сын, ныне почивший Матьяж, но космайчанке некуда было деваться. Мать Павле, ни девочка, ни женщина, что-то между, прожила в этом доме несколько лет, а что ей оставалось, пока однажды утром не приняла решение. Она собрала те немногие вещи, которые у нее были, взяла уже чуть подросткового Павле за руку и возвратилась в Сербию, в Белград. Здесь она, будучи крепкой и работающей, быстро устроилась, нашла жилье и работу, и после первого же Рождества вышла замуж за какого-то пожилого человека, вдовца, которого в назначенный каждому час и отправила в дорогу без обратного билета. И продолжала жить, вместе с Павле, в быстро растущем городе, который из места, где все друг друга знают, стремительно превращался

в кипящий муравейник, в Филадельфию, как сказал бы тот страстный путешественник по Мавритании, он заметил это первым. Они сводили концы с концами, как и все, в этом мелочном, по большей части чуждом мире; мать, решив больше не выходить замуж, с утра до вечера работала – что отнимало у нее почти все время, занимало мысли, – и вспоминала, что она женщина, только в дни менструации, страсть ушла, как рукой сняло, и никогда не вернется. А Павле, Павле рос, ходил в школу, проказничал с мальчишками из Чубуры, на том холме над Славией...

И так шли годы, в неизменном ритме ежедневной, невыразительной действительности, здесь мало что осталось для рассказа. Затем, после восьмилетки, мать отдала его, особо не сопротивлявшегося, в военное училище на Топчидере, и по истечении четвертого года зубрежки ратных глупостей он, успешно закончивший курс поступил в Военную академию, еще на четыре года, о которых есть, что рассказать, особенно когда речь идет о страсти, стал молодым лейтенантом, абсолютным примером того банального общего места, гласящего, что мужские особи в униформе по какой-то сверхлегкой или супервеской причине привлекают дам вне зависимости от возраста, ума и красоты. Но и Павле, бесспорно, умел с ними обращаться, – возможно, этим он в отца, зов крови, природный дар, который он унаследовал и усовершенствовал – им нравилась его близость, и как только появлялась история, хоть сколько-то претендующая на роман, опа! – а вот уже и другая. В сухом остатке этой незавершенности речь главным образом шла о том, что со всеми этими женщинами,

скользившими по его жизни, как сквозняк через проходную комнату вопреки пробудившейся страсти, ни с одной из них они так до конца и не поняли друг друга (опять этот проклятый, незримый отец!), и что все они напоминали падающие звезды на вечернем небе, исчезая быстро и безболезненно, как зуб мудрости под анестезией. Все, кроме одной.

Весны Телбан.

Из-за фамилии, но и из-за усердия в армии у Павле было негласное преимущество, он быстрее продвигался по службе, раньше других сверстников и однокашников получал очередные звания, его не изматывали перемещениями по разным гарнизонам и военным округам; успешно, будто и вправду лучший во всем, сдавая экзамены для повышения, он посвятил себя военному делу и будучи самым молодым подполковником, стал преподавателем Военной академии. Правда, он продолжал жить с матерью, но в доме с двумя входами, поскольку смогли выкупить у совладельца просторного одноэтажного дома на Чубуре вторую половину; с утра униформа, служба, затем обед с матерью, а потом куда душе угодно. Жизнь, казалось, только началась, и море ему было по колено; женщины не проходили мимо, напротив, но любовь не бывает по заказу, любовь падает с неба, из облаков.

На Павле Гробольшека она, эта так называемая любовь, свалилась однажды поздним августовским вечером, когда он, *хм*, в хорошем расположении духа, возвращался из компании, той, где пересказываются приключения военной службы, затем начинаются взаимные подначивания, а завершается все сальными

анекдотами и, в обязательном порядке, для тех, чьи желудок и голова не так крепки, сильными мучениями с тошнотой и рвотой. Утреннее похмелье подразумевается. Павле в этой компании был славен тем, что во всем знал меру, его никто и никогда не видел вдребезги пьяным, и прежде чем вернуться к себе домой (на половине матери в любое время ночи, хотя ему уже и стукнуло сорок, горел свет) он обычно разводил своих товарищей по домам, где обязательно надо было опрокинуть еще по одной – на сон грядущий или с добрым утром, смотря по обстоятельствам. На здоровье! Будем здоровы!

Тот вечер был по-августовски тяжелым и душным, как бывает в Белграде. Едва можно было дышать, как говорится, жабрами, будто рыба в слишком теплой воде. Малочисленная компания быстро разошлась, большинство офицеров – и женатых, и разведенных, и свободных (завидных женихов), разъехались в отпуск на Валданос, в Бигово, Купары и Дивуле, а им троим-четверым не хотелось ни выпивать, ни разговаривать, они разошлись рано, в восемь встретились – в десять расстались, и Павле раздумывал над тем, как убить остаток вечера. Ему не хотелось ни читать, ни смотреть телевизор, где целыми днями показывали, как, с позволения сказать, «президенты» перемещаются из одной столицы в другую, но было уже неприлично так поздно звонить какой-нибудь из своих подружек, да и они, наверное, уже где-нибудь на Таре, в Маркарской или в термах Тухель. Он заглянул к матери, спросил, почему та не спит – смотрю вот, сынок, что творится, сказала она, не знаю, не знаю, до чего все это

дойдет, если они и совсем с ума сойдут, по ним не скажешь, да ты ложись спать, нечего переживать, все будет в порядке, сделай мне утром фаршированного перца. Он принял душ, вытерся влажным полотенцем и, нисколько не освежившись, попробовал почитать газету; и во всех были нарисованы какие-то новые границы. Потом зазвонил телефон. Который час, спросил он себя, наверняка кому-то так же скучно, как и ему, подполковнику Павле Гробольшеку. Он поднял трубку, дежурный офицер передал ему распоряжение срочно явиться в часть ввиду чрезвычайной ситуации, объявлена тревога, армии дремать нельзя. По пути в Топчидер он подвез – незадолго до полуночи, там внизу, у Мостарской развязки – молодую женщину; когда она улыбнулась ему, сверкнув всеми зубами, он уже знал, что это любовь, в тот самый миг, когда на Северном полюсе от айсберга откололся кусок размером с изрядный район Белграда.

Здесь кино заметно ускоряется. С Весной он встречался меньше месяца, только успел познакомиться с матерью (они друг другу понравились, необъяснима связь между той, что родила сына, и той, что завладела всеми его мыслями) и как они договорились, что она переедет к нему... Разразилась война, если это можно назвать войной, а не балаганом, комедией, которая очень скоро перерастет в трагедию. Павле Гробольшек, подполковник из Белграда, получил предписание отправиться в Словению... – Знаешь, – сказал ему генерал Хладетина, контрразведчик, тот, с вечно треснувшим левым стеклом в очках, – хорошо, пусть увидят, что словенец – за единое государство...

Однажды утром Павле, ни с кем, не попрощавшись, вместо гвардейской бригады отправился в сторону Македонии, без каких-либо проблем въехал в Грецию и еще через два дня подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Канаде. Целый месяц, куда дьявол во всех концах его распадающейся страны открывал офисы и представительства, он бродил по греческому берегу, ел только по необходимости и спал всегда в новом месте, потом, наконец, получил документы и пропал, вероятно, навсегда, в канадском захолустье. Здесь началась, здесь продолжалась и потихоньку завершалась его вторая жизнь, согласно уникальной траектории каждого среднестатистического человека со средней продолжительностью жизни: одна работа, другая работа, один город, другой город, первый брак, второй брак, и так далее, и так далее...

Время, которое он прожил в Белграде, все те годы, врезавшиеся в его сознание нестираемыми картинками, иногда настигало его, через неравные промежутки, волнами. Иногда он громко, ни с того, ни с сего в электричке, перед полкой с товаром в «Волмарте» или где-нибудь над водой, на отдыхе в Скалистых горах, за которыми молчит океан, перед сном, в совершенно неожиданных местах и в еще менее предсказуемое время, произносил вслух какое-то слово или фразу на языке, на котором больше не говорил, но который все еще обретался где-то глубоко в нем, на задворках памяти. Поначалу Вёсна была частью этих воспоминаний, но наслоения повседневности совсем оттеснили ее образ, больше не появлявшийся даже во сне. Запоздавшая, пришедшая окольными путями весть о смерти матери, когда ему было под

шестьдесят, скорее потрясла его, чем по-настоящему расстроила. Тогда он подумал, беззвучно спросив себя, что бы я должен был чувствовать – печаль, грусть, гнев, боль, отчаяние, да-да, все это, но на расстоянии, изда-лека, он не нашел нужного слова, язык бессилен и в го-раздо более радостных ситуациях. Все то, что обычно охватывает человека, столкнувшегося с потерей близ-кого, самого близкого по крови, по любви, преданности, заботе, теплоте, пронзило и Павле, но как-то глухо; рас-стояние – это расстояние, и прошлое – это прошлое, дым и пена, туман и лед...

В самом деле, сколько людей в Белграде могут носить имя Вёсна Телбан? На вокзале в Любляне он нашел телефонный справочник Белграда, в нем было двое Телбанов. И вообще, кто знает, какая спустя все эти годы у Вёсны фамилия и, мрачная мысль, – жива ли. Он подошел к автомату и набрал первый номер, отозвался молодой мужской голос, и на робкую про-сьбу, с извинением, не проживает ли здесь случайно госпожа Вёсна, послышался ответ, что нет, не прожи-вает, у нас в доме нет никакой Весны. Он любезно поб-лагодарил, а молодой мужской голос так же любезно сказал, ничего, ничего, попробуйте еще, может, вам посчастливится, у нас редкая фамилия. Спасибо. Вто-рой номер он не стал набирать, только запомнил адрес: Площадь Карагеоргия, дом 3а, Земун. Нет более вес-кой причины для путешествия, чем смерть, но память о любви нельзя недооценивать, *м-да*, подумал он, даже если не найду никого знакомого, еще разок увижу Бел-град, ре́ки в любом случае, но не рыбаков, зима, лед по всему Дунаю.

И вот Павле в Белграде, в туманных февральских предрассветных сумерках, только кошава¹ свищет по узким улицам у вокзала, крутит гнилой, склизкой листвой и цепляет на сучья голых деревьев полиэтиленовые пакеты. Он махнул первому такси, стоявшему в очереди, на миг припомнив, что на вопрос пограничника, листавшего его канадский паспорт, есть ли у него что-нибудь задекларировать, ответил – ничего, но про себя подумал – есть, одну редкую фамилию, Телбан. Такси остановилось прямо у его ног, но таксисту выходить на этот кошавский сквозняк явно не хотелось, поэтому старый Гробольшек кое-как запихнул на заднее сиденье свой чемодан и сам уселся рядом.

– Куда? – спросил молодой таксист, чуть старше тридцати. «Он бы мог быть моим сыном», – подумал Павле.

– Площадь Карагеоргия, Земун.

– Знаю, – сказал кратко таксист, и изрядно потрепанный «форд» двинулся. Они остановились на первом светофоре.

– И как здесь, в Белграде? – спросил Павле, только чтобы что-нибудь спросить.

– Кто как. Кто-то пашет, кто-то стрижет, перебиваемся, – ответил обладатель «форда», по всей видимости, привыкший к подобным вопросам, давно заготовленной, выученной наизусть фразой. – По сути, что-о, ну, сказать-то, – растянул он это «о» и в самом деле побелградски. – Один смех, а не государство, но другого у нас нет, имеем то, что имеем.

1 Дунайский северо-восточный ветер.

– Что, не особо хорошо?

– Куда там. Разруха, не знаешь, смеяться или плакать.. Посмотри на меня, я окончил археологию, а разъезжаю на такси, и у меня по сравнению с другими все супер. Взял взаймы, купил эту «формулу один», и пошло потихоньку, не спрашивай – не едет, не едет и встанет.

– А что не так?

– Спроси, что так. Беда, повсюду и во всем. Как в кино, то убийства, то самоубийства, налог на воздух, грабежи, бомбы и засады, высокообразованные политики, честная полиция, жандармерия еще честнее, армия в полном порядке, учителя-попрошайки, старики, регулярно навещающиеся на помойки, сребролюбивые врачи, скользкие банкиры, дороги как с картинки, все певцы – паваротти, все бренды – цеппелины, развлекательные программы без конца, дешевизна, как в сказке, экология, что надо, ну, рай на земле.. Одним словом, рай...

До Земуна Павле больше ничего не спрашивал, молодой археолог за рулем старого «форда» больше не проронил ни звука; таксисты везде социологи, педагоги, психологи, философы, специалисты общей практики по случаю ... Гробольшек вежливо расплатился, прибавив чаевые в пять евро, по лицу молодого человека было не разобрать, то ли доволен, то ли ему мало.

Он остановился перед входом, поставил чемодан на землю и начал читать фамилии, написанные на домофоне латиницей и кириллицей. Внезапно все показалось ему таким глупым, захотелось развернуться и уйти. У него болела спина, то ли от долгой дороги, то ли от хронически изношенных позвонков, очевид-

но, он еще не совсем окостенел. Его канадский физиотерапевт, близорукий поляк Пилх, с толстыми стеклами на носу, сказал ему, что позвоночник перестанет болеть, когда совсем окостенеет, и к этому прогнозу-диагнозу иронично добавил: – Кто сказал, что у старости нет преимуществ? Только ее сначала надо дождаться!

Павле стоял на пороге, то ли здания, то ли старости, тем поздним февральским утром, посреди безлюдья небоскребов в начале набережной Земуна, достаточно высокой, чтобы с него можно было увидеть Большой Ратный остров, крепость вдалеке и Дунай, весь в ледяных торосах. Он не нашел нужную фамилию и ждал, опустошенный и оторопевший, перед входными дверями, пока не появился какой-то любитель собак, ведущий на поводке полукровку, лохматого Михайло, которому явно не хотелось домой, он упирался и натягивал поводок и сдался только, когда хозяин, еще мрачный после недавнего пробуждения, наорал на него, называя человеческим именем; Павле уехал из Белграда в то время, когда такая манера еще не вошла в привычку. Подслеповатый путешественник вошел вслед за этой симпатичной парочкой в центральный коридор и рядом с лестницей в списке жильцов сразу же, как только из внутреннего кармана пальто вытащил очки и нацепил их на нос, увидел имя: Телбан Вёсна, шестой этаж, квартира 23. Он подошел к лифту, лифт не работал, и потащил чемодан, на каждом этаже останавливаясь передохнуть. Наконец он добрался до дверей, на которых висела табличка с двумя фамилиями: Деврня – Телбан. Он глубоко вдохнул, собрался с духом и позвонил.

А звонок не работал.

Он постучал. Ничего. Постучал сильнее. С верхних этажей доносились звучные голоса, кто-то слишком громко включил радио.

Но вот внутри слышались шаги.

– Кто там? – раздался детский голосок.

Гробольшек не знал, что сказать.

– Кто там? – спросил голосок еще раз.

– Откройте, пожалуйста, – произнес он.

Щелкнул замок, затем повернулся нижний ключ, и дверь открылась. На пороге стояла девочка лет восьми-деяти и с любопытством смотрела на него. На лестничной клетке погас свет. Он нажал на кнопку неработавшего звонка.

– Не эту, дядя, вон ту, где светится, – сказала девочка, а он увидел за ее плечами маленькую, светлую прихожую и в глубине несколько дверей, квартира без запаха... по запаху жилища в первую очередь складывается впечатление о людях, которые в нем обитают. Он не сориентировался, и девочка обошла его, встала на цыпочки, нажала на выключатель и, словно фокусник щелкнул пальцами, перед ним снова засветился коридор, в котором не было окон.

– Вам кого? – спросила девочка. – Или вы ошиблись?

– Не знаю, – отозвался человек на пороге старости, а чемодан стоял в сторонке. – Здесь ли живет Вёсна, Вёсна Телбан?

– Это моя бабушка, – сказала девочка, и потом крикнула через плечо:

– Бабушка, тебя спрашивает какой-то человек.

Прошло две или три секунды, прежде чем открылась одна из дверей и в коридор вышла пожилая, шестидесятилетняя женщина с короткими седыми волосами, все еще красивая, Павле казалось, что все еще очень, очень красивая.

Остановилась и подняла взгляд.

– Вы ищете... Павле!?

– Да, это я, Вёсна.

Тишина уплотнилась, девочка сначала посмотрела на нее, потом на него:

– Бабушка, кто это? – спросила она, с любопытством, подобающим ее годам.

– Ступай в свою комнату и поиграй, я тебе потом объясню, – ответила ей Вёсна, и девочка ее послушалась, не говоря ни слова

– Входи, Павле, не стой в дверях, – сказала она. – Пойдем в гостиную, у меня еще с ночи не прибрано.

Павле поднял чемодан и пошел за ней. Гостиная была светлой и просторной, с большими балконными дверями и видом на реку. Этот вид был для Павле, хотя тот и прожил в Белграде не один год, абсолютно в новинку, на Дунай и Саву он смотрел с Калемегдана, много раз, в свой ранний период жизни, но никогда вот так – с другой стороны. Мальчишкой, позже – юношей и взрослым человеком, он жил вдали от воды, на Чубуре, там, за Славией, и только в новой стране, богатой реками и озерами, открыл для себя важность первого элемента. Из жизни в старом районе он помнил и видел в снах только тесные улочки за недостроенным храмом, через которые, как сквозь неосвещенный туннель, он идет и идет, и никак не может выйти, и еще, чуть

реже, один неестественно высокий дымоход и буйная растительность на склоне рядом с домом, где он когда-то жил с матерью.

– Да, это я, – сказал он, будто закрепляя какой-то с трудом заученный материал, хотя Вёсна его ни о чем не спрашивала.

– Но как?! – откликнулась она, наконец.

– Прости?

– Но как ты меня нашел?

– Я искал – и нашел. Это было несложно, в Белграде твоя фамилия, как и моя, довольно редкая.

– Да, я ее не меняла.

– Но могла, очевидно, – эти слова не звучали как вопрос, скорее как некое замечание, поскольку Павле легким кивком показал на прихожую, где чуть раньше его встретила девочка.

– Да, могла. Садись. Хочешь чего-нибудь освежающего? Чай, кофе...

– Что проще.

Он сел, Вёсна вышла в кухню и вернулась оттуда с двумя чашками чая.

– Зверобой, тысячелистник и мята, – продекларировала она. – Так я начинаю каждое утро. Тебе понравится, на улице мороз. Ты, похоже, с дороги, тащишь чемодан.

– Точно так, с вокзала. Там все по-прежнему...

– Приди ты позже на полчаса-час, то меня бы не застал. Я записалась к зубному, но сегодня мне как-то никуда не хочется, и вот причина не пойти, сообщу, что не приду.

– Из-за меня не стоит, я только проездом, захотелось увидеть тебя, просто так...

– Столько времени прошло. Хорошо, что я тебя узнала...

– А я тебя – сразу. Думаю...

– Что ты думаешь?

– Думаю, что я узнал бы тебя где угодно.

– Ну, кто знает... Я знакомлюсь с кем-нибудь, наговорюсь от души... А через месяц или два, когда мы где-нибудь еще раз встретимся, готова сквозь землю провалиться от стыда, что не могу вспомнить, откуда я его знаю, а особенно оттого, что не запомнила его имя.

– Это со всеми случается. И со мной. Знаешь, а тебя я запомнил.

– Знаю. И я тебя запомнила. И вспоминала тебя, долго, годами после того, как ты исчез. Не сказав ни слова. Так и жизнь прошла.

– Прошла. Да.

– Куда ты пропал, вот так, бах, и нет тебя? Знаешь, я твою маму навещала до самой ее смерти, хотя давно была замужем и дочку родила. Она на работе, эта малышка – ее, живем вместе, втроем.

– А мужчины в доме нет?

– Нет. Мой муж умер пять лет назад. Он хороший был человек, а дочка развелась. Жаль, смотрю на нее каждый день, сейчас у нее лучшие годы – и одна. Поскольку я была замужем, то замужем была, говорит...

– Как моя мама.

– Точно. Ты не ответил мне, куда ты подевался.

– В Канаду, помнишь...

– Более чем. И знай, я поняла, почему ты уехал, но так тебя и не простила за то, что ты не дал о себе знать.

– Я хотел. И почти это сделал. Почти. Сегодня, завтра. Но потом я подумал, что стану им мученьем, достаточно им того безумия, в которое мы все впали, вы бы обе страдали – жив ли я или мертв. Если я жив, от того, что не с вами, если мертв, от того, что меня больше нет. Так и пошло, год за годом, зима за зимой, она там длится пять-шесть месяцев, и потихоньку ты становишься кем-то другим, погружаясь в новые будни. Поначалу ты словно потерял, а потом все становится более естественным и обычным, незаметно вещи обретают свое место, человек привыкает, и тогда небо, под которым он оказался, становится его небом.

– Разумеется.. По-другому не бывает, нигде, где бы мы ни были.

– А ты, что у тебя?

– Совсем другая история. Не знаю, ждала ли я еще чего-то, когда ты уехал. Наверное, ждала или не ждала, не знаю, не помню. Такого состояния в реальности нет, в реальности шла жизнь, как и у всех других, в реальности была война, и нищета, полное безумие, голое выживание, поиски покоя в семье, только здесь он еще и оставался, в какой-то мере. Но то, что ты носишь в себе, остается неизменным, внутри, навсегда. Оно похоже на пустое место, но это не пустое место. Кого-то нет, но он здесь, постоянно здесь. Посмотришь на себя утром в зеркало, он здесь. Едешь в автобусе, он здесь, ты увидишь его на следующей остановке, как выходит и как входит, Даже когда занимаешься любо-

вью с кем-то другим, и я знаю, что не погрешу против правды, когда так говорю, просто это так, этот кто-то здесь. Постоянно здесь, появляясь в твоих мыслях, когда ему заблагорассудится. А вне этого идет жизнь, какая есть, не лучше и не хуже чем у остальных. Жизнь, понимаешь...

Павле кивнул головой, как будто кто-то другой произносил его слова. В эту комнату, в эту квартиру в двух шагах от набережной Земуна, на шестом этаже, откуда виден Дунай, леса и необозримая равнина, он принес чемодан, осязаемый и тяжелый, и прошлое, неосязаемое и еще более тяжелое. Это прошлое сейчас было исцелено только что произнесенными словами, узнаванием этих двоих – женщина на рубеже зрелости и мужчина на пороге старости. В этой большой светлой комнате, которой серость краткого февральского дня не могла ничего сделать, время ненадолго остановилось и уравнило то, что было в них и вовне; они жили сначала так, как, возможно, могли, но, вот, не смогли, и если посмотреть, в мгновение остановившегося времени, и если так смотреть на это, то они жили в мгновение остановившегося времени, и будущее в каком-то смысле стало прошлым, а уж настоящим – наверняка.

– Ты здесь надолго?

– Нет. Возвращаюсь сегодня вечером, поездом до Франкфурта, через все эти маленькие, тоскливые страны, а потом самолетом до Калгари. Потом еще один местный перелет, и я дома.

– У тебя есть кто-нибудь?

– Больше нет.

– Я не хочу тебя об этом спрашивать.

– А если бы ты меня спросила, рассказывать особо нечего. Один город, другой город, одна работа, другая работа, одна жена, другая жена, разве что там я привык к просторам, здесь столько лет спустя все выглядит как-ким-то миниатюрным. Кроме Дуная.

– И это везде так. Мир сжимается, в мыслях. То, что когда-то казалось нам большим...

– Становится маленьким. Хотя, должен тебе сказать, я с трудом хоть что-то узнал в Белграде, только вокруг вокзала, и почта, и дальше, в сторону Славии, на...

– Неманиной...

– Да, Неманиной. Хорошо, что название не поменяли. Видишь, это я помню, туда ходили трамваи...

– И теперь ходят.

– Но это за рекой – совсем не узнал. Незнакомый город.

– Новый Белград. Строительный бум. До войны еще так-сяк, а потом – не спрашивай. Я сама теряюсь в этих новых кварталах, строение такое-то, подъезд такой-то, линия такая и такая, кто в этом может разобраться, а мне и ни к чему, в Земуне у меня все в двух шагах.

– Может, все-таки позвонишь зубному, что придешь?

– Думаешь?

– У тебя еще достаточно времени. Я не хотел бы тебя задерживать. Явился без предупреждения, и так достаточно. Даже чересчур.

– Ты так считаешь?

– А ты?

– Не знаю, что и сказать. Да я ничего такого и не имела в виду. Только когда это пройдет, и я смогу взглянуть на все со стороны, пойму, что со мной случилось.

– Да, именно так, я бы не...

– Мы подумали об одном и том же. Хотя, как говорит одна моя подруга: я знаю, что тяжелые моменты разбивают меня на куски, после них никак не могу собрать себя заново, но я бы ни на что на свете их не променяла.

– Да, они слишком тяжелые, но интенсивные, чувствуешь жизнь...

– Это немало, быть живым.

Опять она произнесла его слова. Наверное, поэтому он и любил когда-то Вэсну Телбан. Она угадывала его мысли. Не единственная причина, но весьма веская. Да, именно так, веская.

– Хорошо, как скажешь. Только после всего сказанного я бы тебя кое о чем попросила.

– О чем?

– Ничего особенного. Я бы хотела, чтобы ты иногда давал о себе знать. Когда захочешь. Без каких-либо обязательств, только чтоб я знала, где ты, как ты, жив ли, что делаешь. Вот так. И только.

– Ладно.

– Знаешь, нам осталось не так много времени, ни тебе, ни мне. Сейчас тебе кажется, что слишком быстро прошло все, что случилось с тех пор, как ты вдруг исчез, но все, что между – было нашей лучшей частью жизни, и то, что в ней происходило.

– Точно, лучшей... Я пойду.

– Я тебя провожу.

Он поднялся, медленно, оставив чай недопитым. Вёсна проводила его до входной двери. Услышав, как повернулся ключ в замке, из комнаты отозвалась ее внучка.

– Бабушка, я могу выйти?

– Конечно, выходи, душенька, скажи дяде «до свидания».

– До свидания.

«Эти прощания, когда рядом с нами есть кто-то еще, легче проходят», – подумал Павле Гробольшек и улыбнулся.

– Ну, давай, не пропадай, – сказала Вёсна, обняла его и чмокнула воздух рядом с его правой щекой. На нем не было очков, и он не мог увидеть, как что-то блеснуло в ее глазах. Да и будь он в очках, при искусственном освещении этот блеск все равно не был тем, чем он на самом деле был чему действительно нет точного определения.

Он вышел на улицу, остановил такси и доехал до первой гостиницы напротив вокзала, на той узкой улице, которая уходила вверх, к площади Теразие, он не знал ее названия, впрочем, возможно, за прошедшие годы ее переименовывали, и много раз. Снял номер, скромный и чистый, отложил чемодан, снял пальто и впервые за двадцать часов снял ботинки. Спина у него все болела, так же глухо, терпимо, но постоянно. Он пошел в ванную, разделся, в зеркале осмотрел свое полноватое, еще крепкое, но все-таки стариковское тело, принял душ, надел пижаму, решив собраться с мыслями и немного отдохнуть от слишком долгой дороги.

Вдруг несмотря на усталость и тяжести в ногах, спать расхотелось. Он сидел в гостиничном номере, в едва знакомом городе, погруженный в себя, но отрешенный от остального мира, без каких-либо желаний или планов, его жизнь остановилась в этой точке.

И так, сидя на кровати, глядя в стену, задумавшись, он дождался ранних сумерек. В феврале дни становятся длиннее, но все-таки темнеет еще очень рано. Он не чувствовал ни голода, ни жажды, очистившись от телесного напряжения и лишних мыслей. Подошел к окну. Слева, в сторону площади, которую он мог видеть только частично, куда, пробиваясь через затор, сломя голову, со звоном неслись трамваи, стояло невысокое, четырехэтажное здание. И хотя сумерки уже совсем сгустились, свет в нем почти не горел. Где-то повыше, он увидел в раме окна неподвижную фигуру женщины, с этого расстояния он мог разглядеть только, что она немолода, ее лицо окаймлял черный платок. Несколько минут не шелохнулась, ему показалось, что она смотрит на него, и он отошел вглубь, прошелся по комнате и снова вернулся, – но все оставалось прежним, застывшим.

Наверное, подумал он, она здесь стоит дни и годы, словно элемент фасада. Он отвел взгляд и посмотрел на улицу, вливающуюся в площадь, на опустевшую детскую площадку и забитую парковку, и дальше – на чередующийся ряд фонарей и деревьев, уже без листьев, украшенных полиэтиленовыми пакетами, – жалкое зрелище. Отовсюду приглушенные шторами и двойными оконными рамами звуки, и он, в тишине комнаты, отторгнутый, переполненный прошлым... все ли похоже,

или одно и то же происходит в этом городе на двух больших реках, которые вместе, под единым именем, текут к морю, черному, чернее самой черной ночи. Он понял, уловив мелькнувшую мысль, что ему именно что-то такое было необходимо, просто быть здесь, в этом месте, где почти никто ничего о нем не знает, и он не знает ничего ни о ком, и ничего не ждет, и еще меньше желает; он был уже в том возрасте, когда человек даже не слишком умный, — а Павле Гробольшек был человеком умным, — понимает, что исполнение желания ослабляет само желание, но не убивает его. Он помнил, что еще ребенком, с матерью, до того как они обосновались, пока еще мыкались по съемным комнатенкам, он боялся темноты так же, как и незнакомых людей, и очень хотел, чтобы у него была своя, только своя комната. И, годы спустя исполнившись, это его желание стало чем-то совсем обычным, повседневным... А сейчас, именно сейчас, к нему вернулось ощущение, что именно этот город и есть подсознательно давно желанное место, где его никто, кроме одного-единственного человека, Вэсны Телбан, не знает, и он никого не знает, кроме нее, и не надо, чтобы кто-нибудь знал о нем; все прошедшие годы он прожил вдали от самого себя, в городах, похожих на большие стерильные герметично закрытые коробки с манекенами, знающих порядок и смертельно точное расписание движения; и он был одной из них, погруженный в чужой язык. Он становился самим собой, Павле, только во сне, и в невольных воспоминаниях..

Да уж, все что случается, должно случиться. Никакие объяснения задним числом тут не помогут, да и к чему? Жизнь и у Павле Гробольшека шла так, как

ей вздумается, и он никогда, вплоть до этого вечера, ни разу не захотел стать самим собой, на своем месте, а не на чужом, по-настоящему своем. До сих пор все развивалось по некой высшей, глухонемой инерции, он знал, чего не хочет, и так и поступил, но потом, после этого решения, ему не приходило в голову взять собственную жизнь в свои руки. Он отдался ее течению, и все шло так, как шло, иногда ровно, иногда более или менее интересно, с обычными переживаниями, радостями, болью, травмами, и так называемыми любовями, которые сгорали гораздо быстрее, чем появлялись, как тот неуловимый элемент в периодической таблице Менделеева, существующий минус мгновение... они приходили и испарялись, пуф, дым и пена. С годами он совсем заснул, и омертвел, весельчак Гробольшек, и докатился до такого состояния – и это он, правду сказать, хорошо понимает – благодаря собственным заслугам или чужой преступной халатности – что, если смотреть с небес, из облаков, – почти одно и то же. Живой в нем осталась только одна маленькая потаенная частичка, все остальное сорвалось в мрачную головокружительную бездну, хотя внешне, на первый взгляд, все выглядело так, как полагается, по наказу сотворившего Бернарду Маровт...

... и так вплоть до этого вечера, когда он заглянул внутрь себя. Там особо не на что было смотреть, кроме как на какого-то прошлого, далекого себя, как – он целиком, основательно растраченный, но все-таки сам, выныривает из этой бездонной глубины и преображается. Впервые он чувствует, что мыслит, да, именно так, чувствует, что мыслит и освобождается от не име-

ющего названия давления, которое всю жизнь заставляло его быть тем, кем он не был...

Из здания вокзала вышел человек в униформе. В одной руке у него был сигнальный жезл, в другой зажженный фонарь. Он поднял жезл, дунул в свисток, замахал фонарем. Февральское солнце с усилением, словно кесаревым сечением, медленно прорезалось над белградскими домами. Павле Гробольшек стоял перед вагоном только что поданного международного поезда, готовый поднять чемодан и ступить на первую ступеньку. Рядом с ним бесшумно проехал электрокар, нагруженный чемоданами. Проводники хлопали дверями. Один из них подошел к Павле и спросил, садится ли он.

— Нет, — ответил Павле, в последний момент решив не заходить в вагон. И пока он наклонялся за своим багажом, и пока состав — без него — дрогнув, медленно тронулся, было слышно как кто-то издалека, с другого конца вокзала, свистком, долгим и протяжным, разрывает промерзшее утро.

Над поездами, уезжающими вдаль

Некоторые истории следует рассказать несколько раз.

Несколько раз – это сколько?

Зависит от критерия.

А часто ли это бывает? Или только иногда, в порядке исключения?

Кто бы знал... Все равно, истории случаются всегда, когда им самим этого хочется, и всегда одна помимо другой.

Так зачем же тогда их рассказывать вместе и снова?

Потому что они каким-то немислимым образом идентичны, но, опять-таки, неповторимы. Случаются, изменяются или губят тех, кто в них оказался, не по своей воле, а люди потом передают их дальше, знаете ведь, каковы люди: единственное, что их привлекает больше, чем разговоры о себе и только о себе, – это рассказы о несчастье других.

Никогда не перебивайте того, кто вас хвалит, сказал *далай-лама*. Если придерживаться этого принципа, то у упомянутых историй есть одна общая причина. Наверное, те, кто в них оказался (вошел и оказался!), однажды, когда-то – они, возможно, уже и забыли, когда это было, – перебили того, кто их хвалил, и им прилетело обратно, многократно и шиворот-навыворот.

Ха, скажете вы, у этого, пожалуй, не все дома, выдумывает тут всякую ерунду, валит все в одну кучу, Бога и Эйнштейна, Тибет и Квартал 21 в Новом Белграде... Но нет, господа, *одно с другим связано*, я вам говорю.

Если не верите, попробуйте не послушаться *далай-ламу*, посмейте прервать того, кто вас хвалит. Вы готовы к такому непослушанию? Мой вам совет – не играйте в черные игры. Не надо читать античные трагедии, чтобы знать, что всякая провинность рано или поздно будет наказана, и что, сколько веревочке ни виться...

И нет тут никакого вымысла. Первую из этих идентичных, но отличающихся друг от друга историй мне рассказал *мой друг* Есен¹, вопреки немного тоскливому имени, человек исключительной доброты и здравомыслия. История такая.

Однажды в воскресенье, во второй половине дня, откуда ни возьмись, позвонил ему некий Велибор, друг детства. Есен его насилу припомнил. Этот друг, по прозвищу Джуле, настоятельно попросил Есена о встрече, мол, ему надо что-то рассказать. Почему именно ему, Есену? Они не были такими уж закадычными друзьями, правда, выросли вместе в атмосфере новобелградского сплина, ходили в одну школу, но учились в разных классах, а в гимназии им даже нравилась одна девушка, позже она станет женой моего друга. Звонок от Джуле застал его как раз в тот момент, когда он оправлялся от развода, а развод – это именно из тех идентичных, но всегда разных историй.

1 Осень (серб.). Обыгрывается имя персонажа.

Это, однако, пока Новый Белград *растет под ясной утренней звездой*¹, не та история. Вернемся к нашим ангелам. Короче, мой друг соглашается встретиться с этим Велибором, товарищем юности, так, для порядка, чтобы не отказывать человеку, а тот впоследствии признался в разговоре, что наткнулся на него случайно. После ста лет отсутствия в Квартале 21, вернувшись в свою историю, да, в ту самую, которую следует рассказать несколько раз, он нашел старый телефонный справочник и начал набирать номера соседей-ровесников, просто узнать, кто еще на старом месте. Мой друг, одержимый числом одиннадцать, оказался, – вот же совпадение, – одиннадцатым из тех, на кого Джуле наткнулся; над этим навязчивым неврозом и над этим *некомическим случаем* и многомудрый *далай-лама*, устами которого глаголют все *ламы* поту- и посюстороннего мира, глубоко бы задумался.

Встретились они на ужине. Джуле представил моему другу свою новую, третью, жену, англичанку, санитарку из больницы «Кобхем Коммьюнити», бывшую вегетарианку, вышедшую на пенсию певицу какой-то третьеразрядной панк-группы. Она помалкивала и наслаждалась белыми свиными сардельками. В конце вечера сообщила, что никогда в своей островной жизни не ела столько мяса и такого вкусного. *Секс не упоминала*.

Ужин как ужин, прошел в болтовне и воспоминаниях. Этот Джуле был человеком не без способностей,

1 Здесь и далее цитаты из поэмы «Плач по Белграду» и других произведений М. Црнянского (1893–1977). Перевод Е. Сагалович

не то чтобы везунчик, бродяга или дурачок – он объехал всю Европу, сунул нос во все ее углы, но нигде не прижился. Так или иначе, в какой-то момент, когда уже вечерело и начала выпадать винная роса, Джуле ведет моего друга посмотреть фотографии боксеров, развешанные по стенам заведения. Они выбрали ресторан, который когда-то принадлежал боксерскому клубу, а новый хозяин решил поиграть в патину времени и как бы поддерживать традицию места, которое когда-то славилось хорошей кухней. И пошли они от фотографии к фотографии, Джуле останавливается перед одной и спрашивает моего друга: «Что скажешь, а?»

Моему другу Есену в первый момент ничего не было ясно. Все это его утомляло, он подумал, что лучше бы остался дома, ну, да ладно, принял приглашение и оказался тем вечером в том месте, так совпало, ангелы не обращают внимания на пролитое молоко, белое – это белое, и точка. Когда он позже чуть внимательнее всмотрелся в фотографию, то увидел на ней Джуле или кого-то, очень похожего на него прежнего, возникшего из небытия, приятеля по микрорайону. Подожди-ка, как это, кто это, я не знал, что ты был боксером... Насколько я помню, мы играли в баскетбол и иногда в футбол, когда баскетбольная площадка была занята, или когда нас выгоняли старшие ребята, те, которые не уступали главной команде архаровцев Квартала 21. Да нет, ответил Джуле, это мой отец. Как это, твой отец, спросил Есен, я знал твоего отца, старого полковника, он не мог быть боксером ни в бреду, ни по уставу, что одно и то же. Да и этот парень на фо-

тографии не он, но вылитый ты. Ну, разумеется, этот – не тот мой отец, которого ты знал, ответил Джуле, это мой настоящий отец.

Тут-то все и выяснилось. У полковника и его жены, матери Джуле, долго не было детей, они уже потихоньку начали прощаться с мыслью о том, что однажды станут родителями. Но в последний момент, когда женский календарь матери Джуле дошел до последней страницы, а впереди были только страницы белые и пустота без материнства, она кое-что придумала. Попросила какого-то типа, в то время чемпиона по боксу, который, по *несмешному совпадению*, бывал у одной из своих «любовей» в доме, где все они гуртом жили, – попробовать это, *хм*, с ребенком. У них получилось, с первого раза, потому что за всем надзирали ангелы. И как только мать Джуле узнала, точнее сказать, почувствовала, что беременна, она поблагодарила услужливого спортсмена, сопроводив благодарность просьбой никогда больше не видеться. Родился Джуле, он рос, окруженный любовью матери и отца, никогда не узнавшего, что ему выпала другая, так сказать, ошибочная роль, что на самом деле не имело никакого значения; он ее всю жизнь играл, как должно, уйдя из жизни с тем ни с чем не сравнимым отцовским чувством, что кто-то остается после него, чтобы вспоминать его и поминать.

И Джуле об этом ничего не знал, до того момента, когда однажды, уже в зрелые годы, он навещал постаревших родителей, и около дома ему встретилась седая морщинистая женщина, позже выяснилось, что это была боксерская «любовь», из-за нее полутяж и бывал в Квартале 21. Когда Джуле был ребенком и юношей,

эта женщина, красавица, как Шпела Розин¹, смотрела на него какими-то другими глазами, как-то странно – теперь легко быть проницательным – как на своего, нерожденного сына. И вот она и дала ему бумажку с адресом и номером телефона в Париже и настоятельно попросила позвонить или зайти по этому адресу, когда сможет или, если будет по пути, непременно, там и узнает, зачем.

И действительно, Джуле при первой же возможности откликнулся на просьбу. После телефонного разговора поехал на поезде из Лондона во Францию и там, посетив незнакомых пожилых людей, узнал, кто его настоящий отец. Постаревшему боксеру вдруг, откуда-то из воздуха, пришло в голову, что у него где-то есть сын, и он захотел на склоне лет его увидеть, чтобы не унести эту тайну в могилу. Тайну невозможно закопать ни в какую землю, потому что, если кто-то и попытается, то все равно на могиле вырастет бузина, придет пастух, срежет молодой, только что прорезавшийся побег, сделает свирель, дунет в нее, и тайна тут же вылетит в мир.

Вам не надо быть *далай-ламой*, чтобы это знать.

После встречи с настоящим отцом Джуле отправился в Новый Белград обсудить это с матерью. Мать сначала не хотела его ни слушать, ни слышать, отметала любые подозрения, говорила ему, что он бредит и болтает глупости, оскорбляет ее в ее-то годы, перечеркивает всю ту безграничную любовь, которой ок-

1 Шпела Розин (р. 1943) – звезда югославского кинематографа 1960–1980-х гг.

ружили его она и отец, полковник. Джуле не дал сбить себя с толку, настаивал, до боли. И, в конце концов, задыхаясь от слез, мать во всем призналась, ...

Я написал и опубликовал этот рассказ. Прочтя его, Есен сказал, что он не очень доволен, потому что я упустил важную деталь. Как так, – спросил я, – я написал все, что ты на меня вывалил, я все это представил себе, но ничего не выдумывал, только изменил внешние обстоятельства и имена, все остальное – это как пять с половиной и пять с половиной.

Да, но ты забыл написать, что, пока Джуле с матерью разговаривали, в соседней комнате, его ненастоящий, но единственный отец прощался с этим миром, в терминальной стадии, я имею в виду отца, а не мир, хотя и мир на грани... И вся драма в том, что тайное становилось явным в последнем акте. В гостиной Джуле кипел от гнева, потому что те, кого он всю жизнь больше всех любил, защищали его иллюзией (если уж быть совсем точным, то жизнь в Новом Белграде, в Квартале 21, тождественна жизни в иллюзии), мать сходила с ума от двойной боли (боль – имя существительное ложного единственного числа, никогда не приходит одна), что сын узнает о той лжи (а ложь – это точка пересечения двух истин), и что не сегодня-завтра ее мужа не будет в списке жильцов их многоэтажного дома, а в спальне полковник, одурманенный успокоительными, бредил и звал кого-то неизвестного, призывал протяжно, целыми днями, из ночи в ночь, как со дна пропасти, пока однажды утром оттуда не послышался краткий хрип, *хрвм...*

Я уверял друга, об этой детали что он не упоминал, она настолько запоминающаяся, что захотел бы, не забыл. Все равно, говорил я или не говорил, ответил мне Есен, ты должен заново написать этот рассказ.

И вот, я написал его, чтобы вывести пятна, хотя пятна с души не могут вывести ни ангелы, ни любой *ваниш окси экин* (этот рассказ может стать местом для вашей бесплатной рекламы).

Идем дальше.

Первый вариант рассказа, к которому у моего друга Есена были серьезные претензии, прочитал Петр, другой мой приятель, человек, несмотря на имя, благородный и мягкий. Он был еще ехиднее. Ха, ты украл у меня рассказ, сказал он мне. Какой рассказ? Как это? Не скажу, ответил Петр, подожду, чтобы сказать публично. Дело в том, я тебе эту историю не рассказывал, но, как ни поверни, ты ее у меня украл. Где-то в снах, в облаках ты встретил мою мысль и снял с нее копию.

Не зовите на помощь *далай-ламу*, мудреца, занятого кризисом *бескрайнего синего круга со звездой* не следует обременять мелочами. Я вам сам расскажу. Это история и та, и не та. Петр ее рассказал, как-то быстро, однажды вечером, в театре, перед публикой, стоя в круге света, который обычных людей превращает в ангелов, парящих над всеми городами мира и *над поездами, уезжающими вдаль*, за исключением, разумеется, новобелградского Квартала 21.

Значит, так.

Много лет назад мой друг восстанавливался в приморском санатории после операции на сердце. Он был в одной комнате с самыми тяжелыми пациента-

ми, не проходило и дня, чтобы он не услышал самый страшный медицинский диагноз – *exitus*¹ – и в комнату вскоре после того, как уносили покойного, заселяли нового постояльца. Однажды утром оттуда вынесли и тело того окаянного писателя, склонного к вспышкам и публичным скандалам, который все, что видел, превращал в зубоскальство и балаган, в зверинец с петухами, свиньями и ослами – так он прятал свою болезненную чувствительность. И только тогда я, сказал мне Петр, или мне показалось, что сказал (может быть, я сейчас записываю что-то, услышанное раньше, или мне пришло в голову, так, из воздуха), понял значение этого медицинского термина. Это значит – уйти, выйти за пределы этого мира, перейти душой, если тут где-то окажутся ангелы, бестелесные, как есть, чтобы нести на спинах двадцать два грамма души, на ту сторону, откуда все мы и пришли, чтобы однажды опять туда *переселиться, потому что смерти нет*; кто-то раньше, кто-то позже, кто-то завтра, кто-то в следующий вторник, а кто-то через семьдесят лет.

За несколько месяцев, проведенных в санатории, я повидал разных людей, рассказывал Петр, а он умеет красиво и увлекательно рассказывать, особенно, когда его внимательно слушают. Стоит ему дорваться, он завораживает, и никто уже не может вклиниться в разговор, с чем наверняка не согласился бы любезный и тоже сладкоречивый Досифей, который, когда речь идет об обеде, никому не уступает, а в беседе требует равноправия: «Приходить в компанию с головой, пол-

1 Скончался (лат.).

ной историй, рассказов и новостей – это называется испортить компанию, потому что каждый хочет своего участия, как и в еде и питии, что на общий стол подают. Нехорошо, если у одного больше, чем у другого. А если кто желал все сам есть и вещать о том, что предлагается, пусть один обедает и сам с собой разговаривает». Прав Димитрие сын Обрадовича, в монашестве нареченный Досифей, когда слово свое молвит, но и словами Петра не стоит пренебрегать. Рассказ без компании, *хм*, как угощение без вина.

Лежал он так днями и неделями в больнице, как Бранко, как Галеб, как Касторп, как Жика Павлович, только санаторий был не легочный, а кардиологический, и размышлял обо всем подряд, бывает так с человеком, пока он лежит и таращится в потолок. А потом они выздоровели, те, которые еще не отправились на ту сторону, из которой нет возврата, немного окрепли и сами начали выходить на легкие, оздоровительные прогулки вдоль моря, шаг за шагом, после завтрака, перед обедом и, по настроению, до или после ужина. На этих прогулках их сопровождали ангелы, иногда им казалось, что слышится трепетание их, вообще-то, бесшумных крыльев, а везде вокруг *клубились* рассказы, как *мартовские коты*.

Одного пожилого человека, с которым Петр познакомился и подружился в санатории, приехал навещать сын. Они провели вместе дивный осенний день, из тех последних перед затяжными дождями, серыми и суицидальными, когда каждый час в постели, напоминает о вечности, а на улице плачут облака. Они гуляли, разговаривали; у Петра в какую-то долю мил-

лисекунды промелькнула мысль, что отец и сын могут так сильно отличаться, хотя в Библии сказано совсем иное; промелькнула, и он сразу же о ней позабыл. Потом был легкий обед, бокал-другой красного вина, что вовсе не возбраняется ни сердечным, ни несердечным больным, после краткого послеобеденного отдыха опять встретились, опять гуляли, разговаривали и ели, и каждый за трапезой рассказал свою историю. Уже совсем стемнело, когда вместе со стариком они проводили на автобус его сына.

– Прекрасный у вас сын, – сказал старику Петр, пока они потихоньку возвращались в больницу, в их общую палату.

– Да, – ответил старик. – Я люблю его больше всего на свете, и думаю, что моя жена очень счастлива. Только... – он умолк на мгновение, которое продлилось дольше обычного мгновения.

– Только... – продолжил Петр, – он и в принципе так естественно, ненавязчиво любопытный человек.

– Только он не мой сын. И никогда не узнает, что не мой.

И потом продолжил так, как рассказывают люди, нуждающиеся в исповеди, чтобы не умереть с тайной. В молодости, а это было давно, так давным-давно, что, как сосновая смола, затвердело и превратилось в рассказ, он влюбился в девушку, в которую к тому времени втрескалось полгорода. Они были знакомы ровно настолько, чтобы при встрече остановиться, перекинуться парой слов и разойтись, у него от этого звенело в голове. Однажды в какой-то компании, на праздниках, они провели целый день вместе, и она потом по-

смотрела на него на секунду дольше, чем ожидалось, следующую неделю он жил только этим взглядом, как хлебом насущным.

Она играла в баскетбол, в те времена вы могли увидеть обнаженные женские ноги только на пляжах, следах и спортивных соревнованиях, а не как теперь, когда просто хочется вернуть прежнюю манеру одеваться, да и галабеи, если надо, все настолько обнажено, что больше не эротично и не призывно. Прошу вас, молодые дамы, прикройтесь, чтобы опять стать красивыми и чтобы мы вас мысленно раздевали, начав с щиколоток... И он ходил на соревнования, чтобы на нее смотреть. Они были знакомы, только знакомы, и ничего больше, никогда ни единым жестом он не обнаружил, что к ней неравнодушен. Это было неприлично, и, как он полагал, у него не было никаких шансов на *любовь с баскетболисткой*, вокруг которой вертелись все главные городские обольстители, как в том мультфильме «Коты-аристократы». На эти соревнования захаживал и Иво Андрич, старый дамский угодник, одержимый демонами, всеми этими еленами, марами, аниками, рифками, гагами и длинноногими немками, которые первыми рискнули показать ноги, а Црнянского никто и никогда там не встречал, по многим причинам: он был футболист, и баскетбол его не интересовал, а кроме того, он страдал агорафобией, его мучили страхи, он был меланхолично-метафизичен, его интересовала не названная или едва упоминаемая женская фатальность (*Слышишь, плачет Луна, молодая и желтая. / Послушай меня, дорогая, в последний раз*); а похоже, и такой уж, каким его Бог сотворил, задиристый и склонный

к дуэлям, с фра Иво был не в самых лучших отношениях после того случая с Академией, когда Андрич потребовал, чтобы прием Црнянского прошел по предписанной процедуре – император может и почетно, и без очереди, а автор «Плача по Белграду» – ни в коем случае.

Старик вспоминал. Подходил к концу второй год его платонической, никогда не обнаружившей себя влюбленности, того сомнамбулического состояния, в котором любая мысль возвращается к одному единственному дорожному образу, постепенно теряющему какую бы то ни было связь с реальной персоной, она только повод, хотя – я повторяюсь – *все взаимосвязано*. Казалось, что ремейка мелодрамы о несостоявшейся-но-все-таки-состоявшейся любви не будет, что эта влюбленность зарастет, как осколок снаряда в ноге, затянется, как язва, как жемчужина в раковине, а Дунай продолжит свой ток изо дня в день, включая выходные, государственные юбилеи, партийные и религиозные праздники, как вдруг воскресную пустоту оглохшей квартиры старой супружеской пары, которая ему, студенту, сдавала бывшую комнату для прислуги, как ножом, разрезал телефонный звонок.

Он раздумывал, снимать ли трубку, кто бы тем июльским днем, заполненным оцепенением и зноем, мог ему звонить? В банатский городок, из которого он приехал учиться в Белград, на лето он не уезжал, прежде всего, потому что у него там никого не было, кроме одной дальней родственницы, наполовину глухой и полуслепой, слабо подвижной тетки, а еще и потому, что скука везде одинакова, в любой точке необъятного

мира, на пыльном перекрестке в Иланче, в белградской холостяцкой комнате, в утробно-влажных лесах Амазонии, на подножьях Урала или под холодным солнцем Гипербореи, где человек, если он не эскимос, среди тюленей и белых медведей чувствует себя пришельцем, или в Сахаре навечно изгнанным чужаком среди *туарегов*. Квартал 21 на этот раз я должен исключить из череды сравнений, потому что есть просто скука, а есть скука концентрированная.

Здесь концентрация самая высокая.

Тем не менее, он снял трубку. Кино может начинаться. Это была она. *Далай-лама* умеет устраивать такие встречи, при условии, что вы ежедневно съедаете по десять зерен риса и думаете, упорно, до одури о том, что то, о чем вы мечтаете, однажды все-таки станет явью, Явой, Сулавеси, Борнео, Мадагаскаром, Бора-Бора, *Суматрой*. Она что-то говорила, но он от возбуждения ничего не понял, слышал только собственное бившееся в горле сердце. Только когда разговор был закончен, он понял, что она попросила о встрече этим же вечером, у крепости, она хочет у него кое-что спросить. В тот момент ему хотелось запеть от нечаянной радости, хотя он был в смысле слуха самым большим анти-талантом из всех существ, ходивших, ходящих или которые будут ходить по этому миру, мертвых (упокой, Господи, их душу с ангелами!), живых и еще не рожденных... Вот это последнее через два-три часа станет очень важным.

Ну, кто живой, кто мертвый, кто не рожденный, а он, стряхнув с себя летаргию и пустые грезы, отправился на место встречи. От возбуждения забыл запе-

реть квартиру. Пока отсутствовал, с экскурсии вернулись хозяева, застали пустую незапертую квартиру, в общем, дело дошло до скандала... Потом он едва сумел договориться об отсрочке на месяц, чтобы устроиться, как раз столько времени ему и было нужно.

Когда они встретились, дневная жара еще не отступила, наоборот, в крепости, несмотря на тень, было еще жарче, чем на улицах города, крепостные стены отдавали накопленное тепло, которое и ангелам обжигало крылья, потому и они в поисках прохлады спустились ближе к реке, откуда приходит первая предвечерняя свежесть. Оставили только одного, дежурного, парить над башнями, на всякий случай, чтобы был под рукой, если вдруг что-то потребуется.

И потребовалось. Эти двое сели на первую скамейку, с того места видны две реки, небо и большое пустое пространство, на котором через несколько десятилетий будет потихоньку расти новый, белый город и однажды, когда все закончится и уляжется пыль забвения, ангел *примет его под свое крыло*.

— Знаешь... — сказала она и на мгновение умолкла, и это мгновение было дольше обычного мгновения.

— Что?.. — произнес он не своим голосом.

— ... знаешь, ты никогда этого не показывал, но мне кажется,.. — она опять остановилась.

— Что тебе кажется?

— Мне кажется, что я тебе нравлюсь.

— Да.

— А ты бы женился на беременной девушке, которая тебе нравится?

— Я бы женился.

И так далее.

Это версия Петра всегда одной и той же, но всегда разной истории. В этой отец так и не сказал сыну, что он ему не отец, тут и *далай-лама* мог бы немного помолчать, из вежливости, от восторга, из уважения, снисхождения, эмпатии или мудрости, собственно говоря, по всем этим причинам.

Разумеется, и до истории Есена и до истории Петра случались такие же точно, неповторимые истории. И у Црнянского есть один такой рассказ, о (не)случившемся отцовстве, но и до Црнянского наверняка рассказывали похожие истории, того же свойства. Наверняка где-то есть прадед и прабабка рассказов. Время от времени рассказы в неуловимом ритме или, *хм*, мутировавшие, как вирус гриппа, кружат по свету, наверное, так зашифровано в генах нашей гордо воздвигшейся на задние ноги человеческой породы. Эту жуткую историю своего друга Црнянский написал и опубликовал на склоне лет. Собственно говоря, это единственная история, которую он, после десятилетий занятия другими вещами, поведал в книге «Рассказы о мужском». Потому что тот рассказ единственный, в котором говорится о трех вещах: первое, у рассказа имеется сильный побудительный мотив, второе, каждый человек носит в себе похожую историю, а третье – она настолько идентична и при этом настолько особенна, что однажды, попросту должна быть изложена, хотя бы и посредством свирели из бузины.

Потому что, о чем не рассказано, того как будто и не случилось.

Милош¹ повествует о друге, который после окончания войны переехал в Белград, поступил на службу в Министерство по делам религий и поселился на Гроблянской улице, у какой-то вдовы с двумя дочерьми. А этот его друг на войне, *пережив такой ужас, стал фаталистом*. Ему уже было за пятьдесят, но о женитьбе он и не помышлял, только иногда мечтал, как *однажды в Париже он женится на девушке, которой еще нет и двадцати лет*.

У друга Милоша был и свой распорядок, от которого тот не отступал. День начинался в один и тот же час, лег ли он спать рано или перед рассветом. Затем выкуривалась первая сигарета, а звуки громкого пробуждения разносились по всему старенькому двухэтажному дому, на первом этаже которого находился трактир. Умываясь, он обычно вспоминал, что перед тем как он открыл глаза, ему снилась вода. У него была привычка, говорит Милош об этом неназванном друге, «во сне звать на помощь – как волшебников, тех, что на небесах, чтобы оберегали наступающим днем, что тут поделаешь». И здесь, стало быть, речь об ангелах. После умывания и щегольского одевания он спускался вниз, в трактир, где на первую рюмочку ракии собирался простой рабочий люд – *вагоновожатые, молочники, пильщики дров – арнауты*, о которых и Растко² писал. Пил кофе, который его дожидался в чашке, прикрытой блюдцем, перелистывал нетронутые, для него оставленные свежие газеты и потихоньку, нога за ногу, как

1 Црнянский.

2 Растко Петрович (1898–1949) – сербский поэт и дипломат.

будто он шел на прогулку, отправлялся сначала в хамам, а в Министерство, в Департамент ислама, являлся минута в минуту, ровно в девять часов. Его любили за голос. Он хорошо пел. Субботними вечерами в одну из двух комнат, которые снимал, обставив их креслами, по случаю купленными у евреев-старьевщиков, он приглашал компанию на карты. Жил беззаботно и жизнерадостно, как будто и не перевалил уже давным-давно за середину жизни, ухаживал за женщинами со своей улицы, изысканно и барственно, а потом или *от скуки*, повсюду одинаковой, или для развлечения, что везде по-разному, сошелся с этой своей квартирной хозяйкой, хорошенькой, еще привлекательной сорокалетней женщиной, об этом и у Мопассана есть рассказ. Ее дочери для него, как и для Бальзака, были табу, хотя злые языки уже давно пустили слух, что в этом неподобающем ему доме он обретался из-за дочек, а не из-за матери.

История Милоша Црнянского, описанная им в рассказе «Мой друг, которого больше нет», произошла в первый ясный день апреля. Было воскресенье, над Белградом разливался весенний, расточительно-ослепительный солнечный свет. Друг Милоша проснулся, встревоженный мыслью, которую он пытался любым способом прогнать, но она к нему все упорнее и упорнее возвращалась, чем больше он старался ее забыть. Накануне вдова, у которой он квартировал, сообщила ему, что беременна. Манера, в которой она ему это поведала, была по-дамски нервической, она сказала, что не вынесет такого позора. На это друг Милоша, «и как мужчина, и как человек, с достоинством, полагая

себя намного выше нее», ответил, что между ними все кончено, и отказался от квартиры, решив как можно скорее съехать. В воскресенье, залитое ранним апрельским солнцем, совершая свой утренний ритуал, он размышлял, пытаясь отогнать дурное предчувствие, что все это как-то устроится, и все уляжется, и что жизнь в этой скромнейшей, осиротевшей семье вновь потечет, как прежде, а потом отправился на весь день бродить по Белграду, «по трактирам, вдоль рек, на корабликах, по кинотеатрам». Все время у него было чувство, что за ним наблюдает огромный глаз этого города. А это, судя по всему, были – ангелы, хотя Милош их нигде не упоминает, и они, залитые светом, с распростертыми крылами, с лицами, обращенными к раю, из которого дует страшный ветер, были в отчаянии, что ни в этой, ни в миллиарде других несчастных полублюбовей ничего не могут исправить.

Незадолго до полуночи друг Милоша все-таки вернулся домой. Его встретила *немая темнота*. Он вошел в свою комнату и охваченный тишиной, внезапно надвинувшимся одиночеством и *отвращением к самому себе*, решил, вопреки прежнему намерению, войти и в другую комнату, которую снимал, но по воскресеньям уступал вдове. Там были фотографии и вещи ее погибшего на войне мужа, *его закололи болгары*. Дверь была приоткрыта. Он вошел. Слабый свет газового фонаря освещал комнату. На один из стульев была наброшена шинель покойника, казалось, кто-то недавно ее снял и ненадолго оставил. И вот сейчас за ней вернется. А потом друг взглянул в сторону окна. На *железной ручке* рамы висела женщина, удавившаяся. Милош го-

ворит «повешенная», но слово «удавившаяся», так тоже иногда кое-где говорят, жестоко, но точнее, потому что в сербском языке одно из его значений – уйти, исчезнуть из этого мира и войти в тот, другой, неизвестный мир, у входа в который стоят на страже херувимы, серафимы и троны.

Обезумев, друг Милоша *вскрикнул*. С первого этажа прибежали какие-то люди, вынули несчастную из петли и положили на кровать. Луч уличного света отражался в ее широко открытом глазу. Друг потом рассказывал Милошу, «что глаз казался ему огромным, а иногда кажется еще больше».

Вот так. И не более того.

Такие истории, похоже, всегда, вновь и вновь рассказывают, потому что они всегда, вновь и вновь случаются. Особенно с теми, кто однажды – а они уже и забыли, когда это было, их уже увезли поезда, – перебил того, кто их хвалил. Так, по крайней мере, полагает *да-лай-лама*. А то, о чем думают на крыше мира, следует принять как заповедь. И не шутить этим. Если вы попробуете, то внезапно налетят ниоткуда черные птицы. С ними, по крайней мере, так говорят ауспиции, ни ангелы, ни *лама* не могут совладать. Они бессильны.

Пусть не случится этого весной

*Тому, кто не растерял
готовность на несколько
мгновений утонуть
в разглядывание облаков,
гонимых ветром над крышами,
или созерцании волн, бьющихся
об утесы, и Богу будет невдомек,
что значит седина щетины
на его впалых щеках, поредевшие
волосы, потемневшие
зубы и прочие подобные
предупреждения.*

Б о р а Р а д о в и ч ¹

Эта весна выдалась дождливой. Как сказали бы классики, которых больше никто не читает: «дождило». Целыми днями шелестело и журчало в только покрывшихся листвой кронах, вода лилась отовсюду, словно отступившийся, разуверившийся в миссионерстве Бог, пробудившись от летаргического сна, готовил генеральную репетицию очередного потопа. Низкие серые облака неподвижно нависли над окрестностями, реки поднимались, над переполненными коллекторами вдоль большого новобелградского проспекта кружились водовороты, влага пронизывала чувствительные к холоду кости стариков. Савва Лакобрия, преподаватель сольфеджио на пенсии, всю жизнь проработавший в музыкальной школе имени Милана Плечаша, семь дней не выходил

1 Борислав Радович (1935–2018) – сербский поэт, эссеист и переводчик.

из дому. Обычно, только займется день, проснувшись, умывшись и обязательно побрившись – а брился он не из-за фамилии¹, но в соответствии с ней, каждое утро уже более шестидесяти пяти лет, – он стоял у закрытого окна и сквозь стекло, по которому, не переставая, скатывались капли, смотрел на мир: фрагмент покрытого облаками неба, который можно было видеть из его квартиры, парковка перед домом, новобелградский проспект метрах в ста отсюда, стоящие напротив и параллельно небоскребы, бензозаправка, верхушки деревьев в ближнем парке, там, по направлению к Дунаю, вдоль которого, в лучшие времена, пока жена его была еще жива, он любил гулять перед обедом, а потом обязательно вздремнуть, поев бульону с отварной говядиной, под вечер, чаще всего в одиночестве.

Шаг за шагом.

Нога за ногу.

Жена тем временем что-то делала по дому, пила кофе с соседями, читала, смотрела телевизор, гладила, разговаривала по телефону с родней из глубинки, и так далее, все своим чередом... У старости, как известно, есть свой очень выверенный, замедленный ритм, и это Савве Лакобрии, который разменял свою жизнь на то, чтобы учить детей различать *vivace*, *allegro* и *moderato*, а также правильно выделять первую и третью долю в такте на четыре четверти, не надо было объяснять. Он это чувствовал и без своего обширного и богатого музыкального образования. Этот ритм замедляется неощутимо, с годами.

1 Игра слов: «легкобреющий».

Однако с тех пор, как поздней зимой после непродолжительной болезни скоропостижно скончалась его бездетная спутница жизни, которую любя называли мама Смиля, Савва – будто кто-то выключил его внутренний метроном, какой есть у каждого человека, и согласно которому тот живет, – говоря его точным профессиональным языком, совсем выпал из ритма. На похоронах было не больше пяти-шести человек. Родственники из глубинки оправдывались внезапностью события, безотлагательными делами и весьма неуместно, по крайней мере, перед лицом смерти, очень дорогими билетами на автобус, так что за гробом на Божанийском кладбище, провожая покойную, шли только самые близкие, самые давние соседи, поскольку молодежь не любит такого рода общественные мероприятия, о чем можно было бы написать прекрасное эссе, было бы кому его прочитать. И, конечно же, дежурная кладбищенская богомолка, плакальщица, которая следует за каждой процессией, сравнивает их, комментируя, разнося сплетни, а заодно и перекусывая на поминках.

После того печального дня, для которого и у Бетховена нет подходящей ноты, Савва совсем отдалился от жизни. Неделями, внезапно потерянный и обессиленный, он сидел перед телевизором не думая и даже краешком сознания не воспринимая то, что смотрит. Он перестал читать и «Политику», его больше ничего не интересовало. Пару раз он попытался на старый, шепелявый проигрыватель поставить пластинку с «Весной священной» Игоря Стравинского в исполнении Лондонского симфонического оркестра, что для него

было вершиной всего живого, а не просто музыкальным явлением и формой, но тут же впадал в забытие, внимание его рассеивалось, и отказался от этой затеи. Всю свою жизнь Лакобрия потратил на убеждение других людей в том, что музыка обладает целебными свойствами и что душа остается собой, пока поет, а сам стремительно провалился в бездну депрессии, и уже ничто не могло его оттуда вытащить.

Кое-как в этом безвременьи наступил и март с ветрами и затяжными холодными дождями, но и он протяжно и медленно, по музыкальному *grave*, превратился в такой же хмурый апрель, местами с прояснениями и обильными многочасовыми ливнями, а Савва Лакобрия – человек, впервые побрившийся в шестнадцать лет на трудовой акции по осушению новобелградского болота, где вскоре после этого вдоль Бажанийской косы и Тошин-Бунара началось строительство жилых бараков, – неизменно свежевыбритый, стоял перед окном, по которому с каким-то своим неуловимым ритмом, для которого нет соответствующего музыкального термина, барабанил дождь, дождь, дождь, дождь и дождь, и смотрел на людей, как бегущих в разных направлениях, на детей, идущих в школу, на людей, садящихся в автомобили и затем уезжающих по проспекту, на женщин в длинных плащах, возвращающихся домой с покупками, с зонтами, вырываемыми ветром, в одной руке и тяжелой сумкой – в другой, а также на нервных собачников, которые, про себя проклиная – так это, по крайней мере, выглядело со стороны, – тот день, когда приобрели домашних питомцев, и теперь по этим разверзшимся хлябям и потоку надрываются и нама-

тывая круги по новобелградским газонам и паркам, а собаки, они и есть собаки, куда же им надо в первую очередь, как не в грязь и лужи.

Савву Лакобрию два раза в неделю посещала патронажная сестра, только что отцветшая сорокалетняя Светлана К., которая по окончании садоводческого техникама долго нигде не могла найти работу, И давным-давно откликнулась на объявление службы занятости, прошла курс переквалификации и уже больше двенадцати лет, – а живет она одна, не замужем, – посещает стариков в Новом Белграде и Земуне, покупает им необходимое, иногда приберется в доме, иной раз что-нибудь приготовит, суп из рубца, или замесит пирог, но самое важное, – с этими людьми немного и поговорит, обо всем подряд, что им на ум взбредет. Старых людей, если только речь не идет, а она не идет, об отшельниках или столпниках, убивает одиночество и молчание. Это в первую очередь, остальное, и даже болезнь, они переносят как-то легче, покуда тот хромым, который ведет прием в новобелградских лифтах и в универсамах, в погоне за оглохшими душами, не придет собрать свою дань.

В последний день апреля, затянутого облаками так, что даже в полдень, омытый дождем, плохая видимость, а стемнело уже где-то после пяти, когда предполагаемое солнце искривилось на горизонте, Савва впервые в жизни решил побриться вечером. Совершенно не понимая причины, почему именно вечером, шестьдесят с лишком лет он брился утром, сначала перед уходом в школу, в восьмой класс гимназии, а потом и два года музыкального училища, где ему все гово-

рили, что с таким абсолютным слухом он должен посвятить себя фортепьяно или аккордеону, но нет, он выбрал теорию и сольфеджио; затем маленький утренний ритуал соскабливания щетины и закрепился в течение трех лет на флоте в Кумборе, в Боке Которской. Там, по окончании шетимесячного обучения он руководил гарнизонным хором и откатался свой срок службы как сыр в масле, переезжая с торжества на торжество и с конкурса на конкурс. На одном из них, ох, братец мой, они обошли и заглушили своим пением казачий хор Советской Армии. Да, некого-то там, а казаков, которые поют, будто являются с того света, и поэтому его премировали десятидневным отпуском. И использовал его для того, чтобы жениться на Смиляне, которую сразу после тридцати уже все называли мамой и мамочкой, хотя вопреки сначала жарким, а потом, со временем, все более редким Савиным и ее попыткам, у нее не было детей, но зато было имя как из рассказа какого-нибудь реалиста-классика, взять, к примеру, Янко Веселиновича.

Черт его знает, в ком из них двоих, в Савве или Смиляне, был изъян. Тогда детей было как травы, после войны все рожали в шестнадцать, и не было, как сегодня, всех этих медицинских выдумок, семинаров, вздора, тестов, генетики, исследований, стимуляций, искусственного оплодотворения и так далее, до тех пор, пока в чьем-нибудь счастливом доме, после долгого ожидания, не загулит какой-нибудь пискун или пискунья. А потом это у него превратилось в твердую привычку – а привычка – это форма судьбы, – что он бреется каждый день утром, неважно, воскресенье ли,

или он работает во вторую смену. И на пенсии ему это не было не трудно, это заполняло время и действовало успокаивающе, он было легче смотреть на свое отражение в зеркале, с поредевшими волосами, пожелтевшими зубами, обвисшими губами, восковым лицом...

Побрился Лакобрия, в тот последний апрельский вечер, вопреки порядку и привычке, так, нашло на него, надел пижаму, в стакан с водой, стоящий у изголовья, окунул протез верхней челюсти, лег на кровать со свежим бельем, которое только позавчера Светлана сменила, погасил свет и минуту или две смотрел в темноту, слушая скучный, назойливый дождь, как он стучит по стеклу, перекрывая все другие звуки, доносящиеся с улицы. Только вдруг, в какой-то момент ему показалось, что внизу, где-то на мрачной, залитой водой парковке, тявкнул щенок. (И он не ошибся, хромой завсегда таскает с собой беременную суку с девятью сосками.)

Последней ясной мыслью, прежде чем им овладела дрема, кто знает, как и почему, было то, что откуда-то прилетел припев слащаво-меланхоличного шлягера из его юности. Имени певицы он никак не мог вспомнить, только тихо запел, потому что душа остается душой, только пока поет, даже и в последний раз: «И если мы когда-нибудь расстанемся, пусть не случится этого весной». Савва Лакобрия никогда в жизни не любил шлягеры, впрочем, это эвфемизм, правильное было бы сказать, он их не выносил. Или еще точнее: он их ненавидел. Для него музыкой был Стравинский Игорь Федорович: «Весна священная». И точка. Тут обсуждать нечего.

Потом он уснул.

Потом он уснул.

Утром патронажная сестра Светлана К. больше получаса звонила в дверь квартиры, где точно так же, как и на заранее установленном памятнике на Бежанийском кладбище, только без дат рождения и смерти, было написано: Смиляна и Савва Лакобрия. Входные двери в новобелградских квартирах могут, *м-да*, считаться временными надгробными плитами, своего рода длительной тренировкой перед постоянным, вечным адресом. И так звонила она, патронажная сестра Светлана К., настойчиво и долго. Звонила и звонила, а с ее плаща и закрытого зонта лились дождевые капли. Звонила и звонила...

До тех пор, пока...

Сказка про кошку

Его звали Жика, по прозвищу Рогалик. Никто не знал, откуда у него это прозвище. Он и сам не знал. Однажды Жика поехал в отпуск на Тухельские воды, слышал от друга, что там очень хорошо лечат ревматизм, а его прихватывало вдоль правой ноги, к каждой перемене погоды и в межсезонье – тогда он едва передвигался. И хотя его считали человеком недоверчивым, каковы обычно все холостяки, тому другу, болтуну несусветному – куда его послал! – он поверил сразу, причем, по нескольким причинам.

Во-первых, друзей у него было не много, два или три, не больше, похожих на него; такие же одинокие, брошенные или овдовевшие мужчины, а друг – это друг еще и потому, что ему надо верить на слово. К тому же, до этого как только он ни лечил свой ревматизм, что только ни пробовал и где только ни бывал и – ничего, жгло и кололо, горело огнем и будило по ночам, он скрючивался и перекашивался, и от боли иногда думал, что даже в аду лучше, там делают перерыв через каждые сорок пять минут – неопровержимое доказательство того, что и мучители ходили в школу. Но, похоже, чашу весов в пользу поездки на курорт склонила совершенно иррациональная причина, ему понравились звуки в названии местности, ту-хель-ские, ту-хель-ские,

как стук вагонных колес в ночи, он понятия не имел, что это означает, но было в этом что-то обволакивающее, бархатное и успокаивающее, тухельские, в тухельские, напевал он про себя, едем в тухельские. И он туда отправился, в пятницу с утра, когда давка в транспорте поменьше, устроил все дела, оплатил счета, полил цветы, смахнул паутину, оставил ключ от квартиры тому своему другу, дипломированному художнику-орфисту, чтобы он кормил его кошку и менял песок в лотке. А перед этим взял неделю отпуска, забронировал номер, купил билет, припрятал паспорт и деньги, заплатил по страховке, заверил медицинскую книжку... И сел в поезд.

Сменяли друг друга пейзажи: луга, леса, деревни, заводы, местечки, отдельно стоящие дома, свалки, предместья, птицы и облака, малые и большие города. В его купе оказалась интересная дама средних лет. Хочешь, не хочешь, а в дороге обязательно перекинешься словом-другим и с незнакомцем, которому мимоходом на улице не скажешь и «здрасте», так они и познакомились. Что-то во всем этом было обещающее, первые легкие мурашки вдоль позвоночника, но не от ревматизма, и первые фривольные мечтания, ага. И вот чудо, и эта случайно оказавшаяся здесь дама тоже ехала на лечение, но не на Тухельские воды, а в Чатеж, там хорошо для щитовидки и при отдыхе, проверено. Договорились, прежде чем она сошла станцией раньше, что, вернувшись в Земун, обязательно выпьют кофе, обменяются впечатлениями, воспоминаниями, положительным и отрицательным опытом, и обоим это

представлялось началом прекрасной дружбы. И она, и он были коренные земунцы, закончили одни и те же школы, знали одних и тех же людей, но, по стечению обстоятельств, до этого момента не встретились, черт его знает почему, потому что Земун – это все-таки не Нью-Йорк или Новый Белград. *М-да*, каждая встреча – случайность высшего порядка, второе название неизбежности.

И это свидание состоялось бы, совершенно точно, если бы на выходе из поезда (чтобы потом пересестись на автобус до Тухельского курорта) дурному ревматiku Рогалику крупно не повезло. *Хм*, крупно, крупнее не бывает. Выйдя из своего вагона, он не пошел на пешеходный переход, как все, а, чтобы срезать, пройти напрямик и избежать боли в спине, которую он *обязательно* бы ощутил, как нудную зубную, – спускаясь по лестнице, он решил перейти через соседний путь. Вот он, мигом. Вы же знаете наш народ, он не ходит там, где ему велят, а идет, куда ему хочется. Чаще всего срезают, потому что, увы, так никогда должным образом и не прижилось поучение многомудрого Фаустина, что кривые ни в коем случае не надо срезать. Ну, вот и спустился бедолага с высокого перрона, шагнул на первую ступеньку, и... углубленный в свои мысли о свежей влюбленности, а может быть, и слегка скованный от долгого сидения, в шуме и грохоте железнодорожной станции не услышал и не заметил, как с противоположной стороны на полной скорости несется маневровый тепловоз. В следующее мгновение он оказался под тяжелыми колесами и был ими буквально

раздавлен. Похожие несчастные случаи на том месте уже бывали, что – и не надо быть зловещим пророком! – верный знак: будут случаться и впредь.

– Не видел я его, он взялся, не пойми, откуда, – сказал следователю машинист маневрового тепловоза, с лицом, красным от возбуждения, а не от избытка алкоголя в крови или, и это тоже может быть, из-за недостатка крови в алкоголе, что первым делом пришло в голову следователю.

Тест на содержание алкоголя был отрицательным.

После краткой паузы человек, которому всегда машут, когда поезд идет мимо, добавил, немного сосредоточившись:

– Я затормозил. К сожалению, слишком поздно. Я раздавил его, как рогалик.

Да уж, имя, похоже, действительно – судьба.

И машинисты тепловозов склонны к красочным сравнениям. «Я раздавил его, как рогалик», *хм*, неплохо сказано, посреди всего этого ужаса, ни убавить, ни прибавить. Все остальное можно свести к новой «галочке» в списке, в романтической профессии вожделения поездов это почти правило. Говорят, что каждый машинист на своем веку так или иначе давит в среднем по двадцать пять человек, одним больше или меньше, как будто для живых это важно, в этом черном списке пропусков не бывает, а мертвые все равно мертвы, и – *schluss* – как выразился бы тот манерный автор камерной музыки. Рогалик поплатился за свое прозвище, будьте осмотрительны, когда награждаете людей прозвищами. Не желая зла, вы попадете в точку – до такой мудрости дошли старые женщины, а кому еще верить,

если не им, старым женщинам. Ну, скажите, кому? Кому? Наверное, не сплетницам, жеманницам, кривлякам, плутовкам, модницам, дурочкам и вертихвосткам, пусть они хоть железнодорожное училище закончили, теперь и это прижилось, что с какой-то поры машинистов машинистками тоже называют.

Этими словами о роскошной выпечке под названием «рогалик» (прозвище бедняги, которое его настигло, когда он этого вовсе не ожидал) следствие по делу было приостановлено и отправлено в архив. Кошка оказалась в приюте для брошенных животных. Три месяца спустя, увидев на местном телевидении объявление приюта, кошку забрала одна известная особа, разведенная, в расцвете лет. Вот так, под настроение, захотелось ей иметь киску-мурыску. Этот зверек, по мнению специалистов из специализированных журналов о здоровом образе жизни и развлечениях, скрашивает одиночество. Нигде не пишут, но в высшем свете точно известно, что она, кошка, еще и признак особой изысканности, и никакие дамы или господа не откажутся от шика. Указанная благотворительница, владелица театрального абонементов и старательный читатель всех возможных отечественных и иностранных модных журналов (это так, к слову) страдала подагрой, страдала, но скрывала, и безуспешно посещала всевозможные курорты, врачей и целителей, санатории и святые места, чудотворные местности с усиленным магнитным полем и благодатные источники, разбирала старые записи и архивные документы, слушала гадалок, гомеопатов, травников и любого другого, кто стал бы известен снятием порчи и умением заговаривать страхи.

Но все без толку. Вплоть до того момента, пока от какого-то случайного собеседника, безымянного, какие время от времени, но неизбежно появляются в жизни каждого (тот, ее, припадал на левую ногу), ни услышала, что Тухельские воды хороши и при этой хворобе, и сразу же, без раздумий, решила и там попробовать.

Сначала поездом, а дальше, как получится – как только взойдет молодой месяц, а кошка нагуляется. Когда припрет, и сатане молятся. Говорят, что и ему иногда стоит поставить свечку.

На троих

Они сидели перед супермаркетом и потягивали какое-то дешевое вино – дешевле некуда. Оцоколич по кличке Шельма, Божидар Прванович по прозвищу Волдырь и Митрашинович, или Кисляй (в молодости Митрашинович звался Гайдуком, поскольку болел за сплитскую команду «Гайдуку», но затем страна пошла прахом, словно вода рябью, а Митрашинович принялся болеть за «Звезду», при этом он, как, собственно, и сам чемпионат по футболу, как-то сдулся и скис, за что и был прозван Кисляем, однако это уже совсем другая история, где нашлось бы место и четвертому другу, который за это время успел где-то затеряться: доходили слухи, что он промышляет карманными кражами на железнодорожной станции Стара Пазова и сутенерствует, подгоняя молдаванок клиентам. Но это – по непроверенным данным. Как только удастся узнать что-то поточнее, обязательно сообщу, а пока – нет нужды притворяться таким всезнайкой). В этой истории, равно как и вне ее, они каждый божий день слегка поддаты и смертельно больны.

Скукой.

Я думаю, что все люди смертельно больны, только кто-то узнает об этом раньше, а кто-то – позже, одних смерть посетит уже завтра, других – когда им будет

семьдесят, ну и что, в итоге мы все приходим к одному и тому же результату, конец – делу венец.

Был какой-то праздник, который, предположим, пришелся на пятницу, зима. Праздникам вроде бы принято радоваться, однако на самом деле в эти дни у нас просто образуется больше свободного времени, порой одолевает и скука, тот напьется, этот проблюется, и после мы все грустим, потому что в праздники, скажу я вам, мы размышляем о смерти, равно как и о дне рождения. К счастью, в тот день ни у кого из них не было дня рождения и никто не умер, но это еще не значит, что такого не случится. Хотя я и не совсем уверен в том, что говорю – я любитель посплетничать, хорошо осведомленный рассказчик. Без смерти не проходит ни секунды.

Вот, прямо сейчас, пока Божидар Прванович, или Волдырь, поднимает над головой зеленую бутылку и, держа ее против солнца, щурит глаз, прикидывая, сколько вина в ней осталось и скольких человек, кроме него, им еще можно напоить, где-то в другом месте безумный ублюдок, насмотревшийся телевизора, открывает стрельбу по детишкам, выходящим из школы. Но это далеко, на другом конце света, если слово «свет» тут уместно.

Впрочем, здесь, перед самым большим универсамом Нового Белграда, в этот предпраздничный вечер никакой смертельной опасности не наблюдается. Народ предается скуке, уплетает гамбургеры и делает покупки, а эти трое сидят на невысоком парапете, отделяющем парковку от входа в супермаркет, и разглядывают прохожих, или, вернее, входящих и выходящих: моло-

дые мамыши, суетливые пенсионеры, неопрятные хип-хопперы, нервные типы среднего возраста с пролысью, которым вечно не хватает денег, девушки, жаждущие стать женщинами, цыгане, грузящие на тележку сложенные картонные коробки, и, черт побери, кого тут только нет, люди так и снуют. И как бы они ни отличались друг от друга, все одинаковы, я имею в виду этих покупателей, быдло, которое, покупая, готово и околет ради своего шопинга. Встаешь, идешь на работу, горбатишься за деньги, получаешь их и идешь что-то купить. Потом приготовишь еды из того, что купил. На следующее утро спустишь в уборной воду, идешь на работу, впахиваешь, тебе опять выдают какие-то гроши, компенсируют расходы на транспорт или питание, и ты снова идешь что-нибудь купить. Никто тебя не принуждает к этому, однако подавляющее большинство людей решило умереть именно таким образом, от работы. А скуку можно позволить себе лишь по праздникам.

В отличие от всех остальных, Шельма, Волдырь и Кисляй живут наперекор общепринятому порядку: им скучно каждый день. Они шатаются по городу, времени у них – прорва, жизнь длинная. В хорошую погоду они обычно сидят перед супермаркетом, а в ненастье, когда Новый Белград затягивается облаками, забиваются в какую-нибудь каптерку и хлещут винцо: единственное, что их при этом интересует – чей черед платить. Регулярных доходов у них нет уже давно, слава о них разнеслась за многие километры, и все, что они умеют делать, так это «перебиваться». Ими была выработана целая стратегия выживания: где надо, подшустрить,

спроворить, стырить что-нибудь по мелочам. Большой супермаркет, внешне похожий на просторный гроб, вместе с подземной парковкой – место, для этого вполне подходящее, здесь всегда есть чем поживиться. Получается у них это ловко – глазом моргнуть не успеешь, а дело сделано, да ведь и вся мировая история не что иное как беспрестанный передел собственности и постоянное угнетение ни в чем не повинных людей, – и потом они сидят, зырят, поплевывают на тротуар и, всасывая надыбаное бухло, заполняют ставочные купоны: «Банатски Двор» продул уже трижды, пора и вничью сыграть, а вот «Манчестер» – тот так и нижет одну ничью за другой; третья болгарская лига – сам дьявол ее не разберет, счета заказные, если вдруг забьют лишку, то тут же и прижухнут, видать, за это их по головке не погладят, и если кто разгадает этих болгар, то других секретов в этом мире для него не останется, да только их не разгадаешь. Никогда и ни за что. Махровый нигилизм.

Ничья, единица.

Шельма, Волдырь и Кисляй, никогда не бывающие трезвыми, уже за полчаса до полудня проспиртованы насквозь, и в прямом, и в переносном смысле: каждому из них лет двести, не меньше, но этого никто не замечает, равно как и они сами, и нет у них никакого имущества, кроме их дурацких прозвищ. Итак, праздник, да еще в пятницу, люди с ума посходили, закупаясь, решили растратиться в пух и прах, сносят с полок все, что глаз углядел. Кисляй прошлой ночью увел с порога цветочного ларька целую сотню цветов, которые с утра разлетелись вмиг, по тридцать динаров за штуку:

люди накинулись, как оголтелые, недовольны, что мало. Шла еще партия из Голландии да Израиля, цедит Кисляй сквозь гнилые зубы, да вот, поди ж ты, застряла на таможене...

Теперь они сидят, попивая дешевое вино, разливают, харкают себе под ноги, рыгают – им принадлежит весь мир. Люди приходят и уходят, а они все сидят и сидят перед супермаркетом. Словно ждут чего-то. Да ничего они не ждут. В праздники скучно всем, а им – что в лоб, что по лбу – скучно и в будни, и в праздники. На противоположной стороне бульвара стоит новый храм – колокольня без колокола стремится ввысь, взмывая к небесам. Тротуар у паперти раздолблен, но людям все нипочем, пробираются по грязи да пыли, ставят свечи, врачуют свое отчаяние. Каждый считает, что отчаяние делает его особенным, и лелеет его, это свое отчаяние. О боли мы поговорим в другой раз, о ней можно говорить всегда. И каждый при этом полагает, что только отчаяние и боль делают его истинно просветленным существом. О, как же они заблуждаются, ведь радость пережить гораздо труднее, ибо ее невозможно долго выдерживать, да еще и потому, что тот, кто называет себя христианином, всегда считает ее незаслуженной.

И тут появился он. Они его заметили не сразу. Он подошел к ним со спины, вывернув из-за угла, слегка прихрамывая, в полуистлевших разномастных ботинках, вместо шнурков – обрывки бечевы, волоочащейся по земле. Он катил за собой тележку с кучей всякого хлама, из которого проглядывало допотопное радио с зеленым глазком, несколько заплесневелых батонов

хлеба, извлеченных из мусорного контейнера, и кипа старых газет (на той, что была сверху, всеведущий рассказчик успел прочесть заголовок: «Футбольный апокалипсис – наша команда не прошла отборочный тур»). Поверх барахла тускло посверкивала мятая, ободранная в нескольких местах латунная труба – без клапанов, никому на ней уже не сыграть. Еще один Чет Бейкер откинул копыта, а теперь и труба, отыгравшая свое, завершит свой путь в конторе, торгующей ломом цветных металлов. Рядом с тележкой, привязанный на коротком поводке, трусил щенок – черный, с красными гноящимися глазами.

– Здоров, давно не видали! – сказал Кисляй, и его приветствие выдавало то, что эти люди друг с другом знакомы.

– Студёно, вишь, – произнес старик, клацая зубами от холода так, что казалось, будто и от него самого веет холодом, а затем, чуть сощутив глаз, который и без того наполовину заплыл обвисшим веком, смерил взглядом Волдыря и сказал – не просительно, а тоном, не допускающим отказа:

– Плесни-ка мне этой отравы.

Волдырь без слов протянул ему бутылку с остатками бурды, коей больше подошло бы название, однокоренное кличке его товарища, который в то утро без удержу хвастался, с какой легкостью он вчера спер в ларьке целое ведро цветов...

Старикан-таракан, пенсионер-помоечник, чье настоящее имя не было ведомо никому во всей округе, кроме как, естественно, всеведущему рассказчику (а мне оно и в самом деле ведомо) – Зумбул Стрига-

нович, хотя все звали его Дедом Тарахто, и он охотно отзывался на это прозвище, как если бы только оно у него и было, – прополоснул парой глотков вина свой обметанный коростой рот с одним-единственным уцелевшим клыком, который блеснул в темноте, как нож, и сказал:

– Ща милицаи притекуть...

Тут можно сделать вывод о том, что происхождением Тарахто был откуда-то с юга, где в окаянный вторник принято общаться с усопшими и где с приходом весны начинаются гонки по зарослям – кто кого первым сцапает.

– Да на черта мы им сдались? – спросил Волдырь – Чё мы такого сделали, а?

– Ага, не сделали, как же – а кто надясь стибрил в ларьке двести роз, что у Рады на венки стояли, – кто их тиснул?

– Без понятия. И уж коль на то пошло, то не двести их было, а всего-то сто.

Кисляй ни гу-гу – а чего от него еще ждать? Известное дело – мямля и трусло, кто ж не знает... Ну, теперь всеведущему рассказчику пора и немного передохнуть, в конце концов, и у него сегодня выходной.

– Сто, двести – эка мера! Рада вызвала милицейских и показала как раз на тебя.

За миллион лет своего тунеядского стажа (половину которого следовало бы признать льготным ввиду тяжелых условий труда) Волдырь не раз и не два вступал в стычки с милицейскими – и за бродяжничество его сажали, и за расхристанный вид забирали, к тому же

из всей шушеры он всегда больше всех выдрючивался и оказывал сопротивление всякий раз, когда его просили предъявить документы. Он просто-напросто презирал порядок, труд, дисциплину – и, будучи неукротимым горлодером, мало-помалу стал авторитетом среди себе подобных. Воровать-то он никогда не воровал, но всегда брал под свою защиту мелких жуликов, говоря, что весь мир стоит на воровстве, вранье и прохиндействе. А достается на орехи лишь мелкой сошке – несправедливо.

И впрямь: вдруг завизжали тормоза, и перед супермаркетом остановился полицейский автомобиль, из которого выкарабкались два амбала в синем. Одного из них компания не знала, видать, какой-то чин из сторонних, в то время как второй, годами курсировавший по ночлежкам, взямая с их обитателей сущую безделицу за посильную защиту, был не кто иной как Пантеля Попич, совершенно напрасно представлявшийся по имени-фамилии, поскольку с самого начала снискал короткое и звучное прозвище – Скот, – которое шло ему больше, чем крестное имя. Правда, крещен он не был. Зато молотил своими ручищами налево и направо так, что побиваемым сразу становилось понятно: этот блюститель не боится никого, даже Бога любой веры. И ничего тут не попишешь – как оно есть, так уж и есть.

– Ну, братец, давай немного проедемся с нами – посмотрим, с каких это пор ты у нас темными делишками занимаешься. Сам пойдешь – дорогу знаешь? Или браслет примерим? – сразу же наскочил на Волдыря Скот. – И чтобы мне без лишних вопросов – а то, зна-

ешь, как в кино у американцев? «Все, что вы скажете, может быть обращено против вас».

– Эх, – только и сказал Волдырь. – Ты и в самом деле думаешь, что я этим промышляю?

– Скажу, как есть, братушка: я-то так не думаю, но Рада-цветочница донесла мне, будто бы с утра перед универсамом вы продавали те цветы, что она для венков держала – откуда людям знать, на кой ляд их прочили, да и плевать, раз уж такая дешевка.

Шельма и Кисляй молчали, черт их дери – всякий раз, как дело принимает нешуточный оборот, они – молчок. И вот Волдыря забрали в участок, всего-то метров полтора от супермаркета. Дед Тарахто исчез так же внезапно, как и появился. В участке подозреваемого допрашивал тот второй, незнакомый полицейский, инспектор по мелким правонарушениям: всесведущий рассказчик (какой мощный бренд, однако!) знает лишь его погоняло – Стопор. Волдырь спокойно отводил от себя все обвинения, а затем на него поднажали – прошу прощения, он схлопотал в рыло, то есть, ему дали в моську. Скот даже настолько взъярился, а рассердить его было очень и очень непросто, что приковал Волдыря наручниками к батарее. Бросив задержанного пристегнутым к трубе парового отопления в подвале, троица в полном составе отправилась выпивать, и так они все нализались, что им всю память отшибло. Они лакали ракию и пиво, покуда мозги себе не выполоскали дочиста, покуда их не стало мутить да выворачивать – где уж там помнить, что еще они делали в тот самый день. Кисляй и Шельма наблюдали снаружи, заглядывая в окно харчевни, но у них не хватило духу подойти и сознаться –

а даже если бы они это и сделали, то какая разница, черт побери, все завершилось бы тем же самым. Затем наступили праздники, три нерабочих дня, на протяжении которых Волдырь, один-одинешенек, закованный и брошенный в подвале, парил в полузабытье, по сути, медленно умирая, избитый, отданный на растерзание боли, которая становилась все невыносимей, топила под собой весь мир. Но боль эта была причинена ему не ярыгами, нет. Источником ее была гораздо худшая несправедливость, и вот ее-то терпеть было невмочь, она тащила его на тот свет, и все же он почему-то знал, что так и должно было случиться и такова его искупительная жертва, благодаря которой он однажды, где-то в вечности, очнется вновь – и с тем умер: скорее всего, отказало сердце. Его нашли с поникшей головой и распахнутыми, непотускневшими глазами. Урядники поспешно и сноровисто замяли дело, умыли руки. По правде сказать, не такой уж и сложной была задача, да и не первый случай такого рода выдался в их практике, так что к подобным картинам им было не привыкать, даже скучно как-то. Уж будто творению, называемому человеком, в охотку и выпить нельзя.

А супермаркет работает по-прежнему бесперебойно. Он столь огромен, что в нем можно и себя потерять. Всякое бывало. Всесведущему рассказчику известно – ни много ни мало – о нескольких бедолагах, опупевших здесь настолько, что потом и Лаза К.Лазаревич (я имею в виду учреждение с таким наименованием – быть может, вам доводилось слышать о психушке, названной в честь упомянутого медика и писателя?) не в силах помочь. Однако же и это – совсем другая история. А здесь

можно рассказать еще и о том, как в первый после-праздничный день, когда город оживает и в воздухе носится неизъяснимое предвкушение того, что в мире, наконец-то, произойдет нечто важное (как будто в этом мире когда-либо происходит что-то важное), Шельма и Кисляй, как всегда, ошивались на своем излюбленном пятачке перед супермаркетом, делая вид, что знают ни о чем не знают и что все случившееся к ним не имеет никакого отношения. Да и если подумать – а разве что-то случилось? Ну, а если даже и случилось, то кому от этого жарко или холодно – всем как с гуся вода.

Следующим утром кладбищенский сторож на пенсии, Дед Тарахто, проснулся в обжитом им подвальном помещении, бывшей котельной, дававшей некогда тепло целой многоэтажке в Новом Белграде, и первое, что пришло ему на ум, – надо бы, наконец, завязать бечевку на потрепанных башмаках. Потом он выпрямился – позвоночник закрипел, болью отдалось где-то в подошве. Он беззубо чавкнул, сверкнув сиротливо торчащим клыком, и сказал черному щенку с красными глазами: «Вот так-то, и с этим тоже покончено!» – хотя ни одна живая душа, ни сам всеведущий рассказчик (и чего он все хвастается своей осведомленностью, если ничегошеньки на самом деле не ведает) или кто уж он там есть, не смогли бы истолковать, относилось ли это мудрое, снимающее груз с души речение к завязыванию шнурков или к чему-то еще.

Через дорогу от супермаркета, на противоположной стороне бульвара, колокольня без колокола, часть недавно возведенного храма, вздымаясь ввысь и пустуя, подпирала небеса.

Клуб замерзающих

– Добрый день, мне нужен номер.

– Вы забронировали?

– Да, несколько дней назад.

– Ваша фамилия?

– Жегарац.

Фамилия прозвучала как чужая, как если бы он представился не своей. Растерянный портье, похожий на патологоанатома, внес имя в компьютер.

– Здесь вас нет.

– Этого не может быть, я вчера подтвердил бронирование, сказали, что все в порядке.

– Такое бывает, подождите, сейчас проверю. Возможно, вас записали в журнал, а потом забыли внести бронь в компьютер. Жегарац, так вы сказали?

– Да.

– Один момент.

Взял толстый журнал для записей, принялся листать, искал несколько минут. Жегарац терпеливо ждал, он никуда не спешил. И наконец:

– Ага, вот, нашел. Будьте добры ваш паспорт.

– У меня с собой только заграничный.

– Не важно, можно и его.

Протянул паспорт.

– Номер двенадцать тридцать шесть, – сказал портье, глядя ему прямо в глаза. И взгляд, и голос были, как только что снятые со льда в морге. Жегарац смутился. С трудом выдавил из себя:

– Последний этаж?

– Да, как здесь записано, гость просил комнату на последнем этаже.

– Все правильно, я просто проверяю.

– Ваш ключ.

Латунный брелок с цифрами звякнул о стойку. Жегарац взял его. У портье на правой руку не было указательного пальца.

– Спасибо.

– Пожалуйста. У вас будет прекрасный вид из окна.

В холле сновали самые разные люди, как будто здесь снимают кино. Один пронес контрабас в футляре, другой шептал в мобильник что-то, видимо, ужасно интимное, одна женщина пыталась успокоить расплакавшуюся девочку, другая, в короткой юбке, не закрывавшей колени, сидела в массивном кресле напротив стойки портье, кого-то ждала. Это был один из тех сияющих, вечно переполненных, безвкусно больших и не очень привлекательных отелей в самом центре города, какие ночью, светясь сотнями взятых в рамку источников света, кажутся похожими на приземлившийся космический корабль. За всю свою жизнь Жегарац не меньше миллиона раз проходил мимо этого отеля, но до нынешнего вечера, по прихоти занюханного господина случая, ни разу в него не заходил. Лишь иногда, шагая мимо окон кафе на первом этаже, он бросал на них взгляд. По ту сторону стекла было всегда при-

мерно одно и то же: люди за столиками равнодушно провожали глазами прохожих, каждый думал о своем и каждый следовал за сюжетом своей истории.

Однажды, на тридцать девятом году жизни, человек по фамилии Жегарац захотел последовать за другим сюжетом другой истории. Можно было бы сказать, что это желание возникло неожиданно, ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, что оно охватило его, на первый взгляд, беспричинно. Но причины всегда есть, просто их нужно найти. Истинные обычно незаметны, не доступны глазу, но они грызут и продвигаются, проделывая ходы, как черви в дереве, изо дня в день. Они не прекращают работы, растут и растут, а потом вдруг – раз! – все меняется. Человек не птица, он не может тут же, расправив крылья, переместиться куда-то, не может с высоты взглянуть на самого себя, но неумолимость этой истины не мешает ему представлять себе, что такое возможно – в мгновение ока оказаться где-то в другом месте, в один миг стать кем-то другим. И Жегарацу под конец молодости, незадолго до сорокалетия, бесснежной зимой, пришло в голову, что он должен немедленно что-то с собой сделать, пусть он не знает что, но сделать, броситься навстречу чему-то новому, не раздумывая, вот так, вдруг, с неба и с облаков, без всякого плана.

Да, куда-нибудь уехать.

Уехать ему некуда. Не важно, все равно надо непременно себя куда-то деть. Для начала он набрал номер отеля и забронировал комнату на верхнем этаже, желая просто уединиться и спокойно, на высоте пятидесяти метров над землей (если он правильно подсчитал), не-

много поразмыслить над собственной жизнью, над тем, до чего он добрался и куда двигаться дальше по неумолимой прихоти времени, объясняющегося знаками. Перед ним, если он проживет столько же, сколько прожили отец или мать, открывалась перспектива как раз стольких дней, сколько осталось сейчас за спиной...

В то позднее зимнее послеобеденное время он закрыл дверь своей квартиры в новом районе Белграда так же, как делал это ежедневно, с тех пор как себя помнит. Квартира досталась ему от родителей, тихих людей, которые прожили вместе пятьдесят лет в безгласной ссоре. В жизни Жегарац особо не старался чего-то добиться, все, что было нужно, он просто получал одно за другим, без взлетов и падений. И двигаясь в предназначенном ему отрезке времени, словно в то совершенно темном, а то ярко освещенном тоннеле, он не чувствовал, что меняется, хотя не мог сказать этого об окружавшем его мире. Нет, мир менялся, постоянно к худшему, становился все холоднее, все равнодушнее, все стремительнее, принимая все более уродливый, по мнению Жегараца, вид. Люди в телевизоре, в автобусах, в которых он перебирался на другой берег реки, на улицах, по которым он спешил вслед за скудным сюжетом своей истории, выглядели все более отвратительными, иногда ему казалось, что здесь, посреди города, он сталкивается с дромадерами, медузами, утконосами, хоботными, копытными... которые разве что передвигаются на двух ногах и лишь издали напоминают каких-то древних, мало известных ему предков.

Наташе он сказал, что идет в город, хотя она его и не спрашивала, не было у нее такого обыкновения.

Она всегда слишком много работала и всегда была уставшей, со своей женой Жегарац в течение дня едва ли обменивался более чем парой самых необходимых слов, и так годами. А Тане он не сказал ничего, не мог, хотя хотел бы, и, конечно, поцеловал бы ее, но она еще не вернулась из школы, осталась на внеклассные занятия по рисованию. В любом ребенке живет непробудившийся Ван Гог, который позже, в зрелые годы забредает в чашу и там теряется. И Жегарац в своей новобелградской молодости играл на «фендере», в гимназии считали, что из него получится новый, белый, Хендрикс, но ни черта подобного, такой рождается лишь раз, а теперь он мертв, потому что, наверное, Богу понадобились уроки игры на гитаре, так что и потенциальный новобелградский электропаганини с годами охладел к арпеджио и аккордам, по настоятельным советам отца поступил на информатику, отучился, получил диплом, состриг дреды, нашел работу в управлении городской электросети и женился на гимназической подруге. Наташа жила в соседнем квартале, поначалу это могло показаться любовью, но нет, только показалось. Как бы то ни было, жизнь покатилась – заработала сила инерции – и двинулась так, как ей захотелось, обычным порядком.

Ровно.

И пока улицы с неба и из облаков заливал потоп истории, Жегарац тратил свои годы на погоню за собственной жизнью, которую все никак не мог догнать и схватить. Без особого волнения, без каких бы то ни было сюрпризов. Наташа – он часто думал об этом, потому что в основном думал о любви, о том,

чего всем нам не хватает даже тогда, когда оно у нас есть, но его всегда недостаточно – была его единственной полулюбовью; настоящей, полной он никогда не испытал, за все свои без малого тридцать девять лет. Да, именно так, полулюбовью, потому что любовь – она целая, иначе это не любовь. Но иногда она не вполне различима, у нее нет нужной силы, и тогда ни туда ни сюда, так, полулюбовь, ввиду отсутствия весомых доказательств. А Таня, она навсегда, она его солнышко, двенадцатилетняя папина умница, со взглядом, от которого мутится рассудок и передвигаются предметы в комнате. Но более или менее все оставалось на своих местах, за исключением случая, когда Танюша, играя своей гипнотической силой, передвинула на несколько миллиметров комод в прихожей, и Жегарац, ночью, сонный, пробираясь в туалет, ударился мизинцем о его ножку, да так, что звезды из глаз посыпались. Но это все ерунда, такие вещи случаются повсюду и с каждым, тело привыкает к определенному пространству, и достаточно заметного только под микроскопом изменения в этом пространстве, как оно сбивается, теряется, но ничего страшного. Так же и Жегарац, слишком чувствительный и легко теряющийся, привык к своему пространству и к своим близким и находил общий язык со своей комнатой, ванной, и прихожей, и со своими домашними настолько, насколько это дано обычно новобелградскому жителю, ни больше ни меньше, чем другим.

Да, и при всем этом некоторое время назад – трудно точно определить, с какого именно момента ему стало трудно, потому что тихий ужас проникал в кости

откуда-то издалека и неспешно, словно с того света – он стал сильно зябнуть, всегда и всюду, независимо от времени дня и времени года, в равной степени зимой и летом. Он весь дрожал от холода, внутри, постоянно и незаметно для других, со временем привык, так же как всякий человек со временем привыкает к врожденной или приобретенной помехе – шуму в ушах, подергиванию века, боли в спине, тесной обуви. Зябкость, по правде говоря, самое невинное слово, для описания постоянного, хронического состояния легкой дрожи, благодаря которому он без громких слов, исподтишка, но недвусмысленно и бесповоротно стал членом многочисленного, повсюду распространенного, растущего в прогрессии всемирного братства тех, кто и в самую жару чувствует, как его зубы выбивают неслышную дробь, и которое с определенной долей ответственности можно было бы назвать не иначе, как Клуб замерзающих. Никому не известен ни устав, ни местонахождение правления этого клуба, впрочем, ни того ни другого не существует, хотя существуют его члены, даже если не знают, что таковыми являются, даже если считают, что то, что с ними творится и не прекращается, происходит только с ними одними. И с этим им суждено жить. Когда один уходит, на его место приходят трое других.

И тогда, продолжим нашу историю, на Жегараца чем-то повеяло, скорее, это было действие какой-то бессловесной ледяной стихии, а не его желаний, он ощутил это телом, которое словно бы захотело переместиться, убежать. Он перелистал телефонный справочник,

нашел номер, набрал, забронировал комнату в отеле, в своем собственном городе, правда, на другом берегу реки, словно оказался здесь проездом, и ему нужно где-то переночевать. По прошествии всех лет спокойной, ничем не нарушаемой жизни он закрыл за собой входную дверь, на первый взгляд так же, как уже делал два миллиона раз, но все-таки с маленькой разницей, с той чертовски маленькой, в миллиметр, разницей, которая перенаправляет дальнейшую жизнь, как небольшое поначалу отклонение от нормы приводит к катастрофе – слова, которые приписывают Аристотелю. И не имея куда и к кому податься – ряды друзей поредели, кто-то развелся, кто-то эмигрировал, кто-то сделался невыносимым, равнодушным, завистливым, пассивным или слишком занятым, для того чтобы участвовать в спорадических ритуальных сборищах, – Жегарац решил, что было бы неплохо на малую толику отделиться от земли, хоть как-то взлететь, чтобы сверху поглядеть на мир, немного согреться, посмотреть, до чего он добрался в результате, что сделал, насколько ему удастся все это осмыслить и что предпринять дальше.

Взяв ключ у человека с четырьмя пальцами, он поднялся на лифте. И стоило ему ступить в гостиничный номер, этим только отделившись и от себя, и от остальных людей, потому что нет более плотного одиночества, чем в пустом гостиничном номере, – как зазвонил телефон.

– Да.

– Вы говорите по-английски? – спросил женский голос, подчеркнуто любезный, без акцента.

– Да, я вас слушаю.

– Не заинтересует ли вас сеанс массажа, прямо в вашем номере?

Жегарац, застигнутый врасплох, на мгновение потерял дар речи. Разумеется, он сразу понял, о чем идет речь, мальчишкой он особенно любил песню «Стоунз» «Honky Tonk Women» и играл ее, как профи, вместе с пластинкой и с Китом¹, тон в тон, но такое, как сейчас, происходило с ним впервые. За всю жизнь он ни разу не изменял жене. Это всегда казалось ему невыносимым. Его друзья хвастались трофеями, скальпами, иногда у него было впечатление, что окружающие только об этом и шепчутся, задыхаясь в промискуитете, и что людей на самом деле влечет и захватывает только это. Да, да, жизнь движется постоянным ростом квазилюбовных интриг, переодеваний, соблазнений, трагических или комических поверхностно-эротических завязок и развязок, а его все это, как ни странно, совсем не трогало. Просто-напросто не интересовало. Ему было холодно, он только не мог разобраться, откуда берется этот холод – извне или изнутри, из костей, а может быть, и оттуда, и отсюда. И тогда, словно в другое ухо кто-то шепнул ему, что нужно ответить, он услышал, как произнес:

– Да, заинтересует.

– Прекрасно, – ответил женский голос, без акцента. – Ждите нас минут через пятнадцать.

Жегарац снял пальто и повесил его в шкаф, висящее на вешалке, оно показалось ему сникшим демоном,

1 Кит Ричардс (р. 1943) – гитарист и автор песен рок-группы «The Rolling Stones».

неожиданно оказавшимся здесь, рядом с ним, наблюдающим за ним и контролирующим каждое его движение. Потом он разулся, повалился на кровать и огляделся по сторонам: обычный гостиничный номер, чистый, проветренный, прохладный, без всякого запаха...

Подошел к двери из толстого прозрачного стекла, которая вела на маленький балкон, но открывать не стал, должно быть, от неуверенности, побаивался высоты. Повсюду, куда ни глянь, простирался город, и можно было увидеть действительно все – растянутую, невротичную панораму, улицы, реки, мосты и напротив, в близкой дали, в серой, ветреной зиме, то бессмысленное, равнодушное место, где он провел всю свою предшествующую жизнь. Где-то там, в новобелградском Квартале 66 и его комната, маленькая клетка отшельника в скале небоскреба, с иконой Хендрикса на стене.

Он взял пульт и включил телевизор, через пару секунд появилась картинка. «Посмотри только на этот бардак, в комнате можно ногу сломать. И имей в виду, я не хочу больше говорить об этом и не хочу никакой ссоры. Решать все будет Бог, а не мы», – было первое, что он услышал. Какая-то актриса что-то объясняла какому-то актеру, а он молчал, но не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что Жегарац тут же выключил звук и погрузился в мысли, а из мыслей в отчаяние. Зябкое, постоянное, неконтролируемое отчаяние беспокойного происхождения.

Больше он не чувствовал ничего, только это отчаяние, которое где-то там, на грани самого себя, в далекой дали, превращалось в ужас и боль, потому что

отчаяние, как ни крути, – это боль души, это изречение приписывают одному анонимному сценаристу одного из трех миллионов мексиканских телесериалов. Снаружи медленно угасал день, рассеянный свет распространялся над городом, чья-то рука в управлении электроснабжением повернула центральный рубильник, и улицы вдруг разом засияли полным сиянием, а Жегарац лежал на кровати в гостиничном номере и увязал в отчаянии, как в трясине. Это было то густое ледяное отчаяние, самое густое из всех, чья причина неизвестна, – если только это не сама жизнь. Он чувствовал его так же, как его чувствуют и с трудом переносят все люди, независимо от того принадлежат они или не принадлежат к членам невидимого, но широко распространенного Клуба замерзающих, отчаявшихся, как и в случае со всеми млекопитающими, всеми копытными и парнокопытными, всеми лосями и зебрами, львами и гиенами, вне всякой зависимости от того, съедят ли они или съедят их, ибо речь идет о том, что нам дано от рождения, что мы получаем самим приходом в этот мир, самим своим существованием и что тяжелые обстоятельства жизни лишь усугубляют.

Природа или город, ересь или церковь, алкоголь или абстиненция, обжорство или пост, celibат или бордель – всего этого недостаточно, чтобы вызвать или приглушить отчаяние. Отчаявшийся испытывает это чувство по многим причинам, и решение о нем принимает даже не Бог, который, должно быть, и сам в отчаянии от того, что сотворил, и дрожит теперь от жуты в недоступном пространстве, у источника света. И это чувствует каждый человек, чувствует и не обязан по-

нимать, независимо от того, кто он – сам отчаявшийся или же специалист по отчаянию, потому что каждый одновременно и то и другое, каждый чувствует отчаяние и при этом знает, что никакая мысль не может помочь его устранить, может лишь обманчиво и ненадолго отвлечь. Отчаяние, сопровождающееся ужасом, если учесть все и свести к сути, что бы ни думали об этом Аристотель или неидентифицированный сценарист душераздирающего марафонского сериала, предположительно некий возможный потомок ацтеков, – это, в сущности, лишь постоянное предчувствие того, что нас здесь с какого-то момента больше не будет.

Помочь тут, да и то в некоторой степени, может только любовь.

Но что, если любви нет? Или же, как в случае с человеком по фамилии Жегарац, то нет, то есть, но ее всегда недостаточно? Грезит и дрожит Жегарац, на границе самозабвения, в гостиничном номере, в ожидании неожиданного визита, и тяжела ему не та мысль, что его не любит никто, а та, что его не любят все, как любили Хендрикса, потому что каждый хочет, чтобы его любили все. И хотя каждый, не задумываясь, скажет, что не любит всех и каждого, всем нам присуще желание, чтобы нас-то любили все. Но прямоходящие, то есть те, кто ходит на двух ногах, то есть люди, в той же мере, что и страусы или кенгуру, свободны от обязанности любить всех и каждого, и они лихо пользуются свободой такого рода. Именно в этом и проявляется какой-то сущностный дефект – не любим каждого, любим, чтобы нас любили все, – и этот дефект, суетность мира, никак не поддается устранению. К нему мы не можем

привыкнуть, не можем с ним смириться. Здесь корень всех наших несогласий, и с самими собой, и с миром.

Любовь – это истина, безусловно. Жегарац, раздумывая в тот вечер о том, кто и как его любит, но только на самом деле любит – и не найдя ответа, есть ли вообще кто-то еще, кроме Тани, а это все-таки представляет собой любовь заданную от природы, а не благоприобретенную, – пришел к пониманию, что любовь – это истина. А если и не так, то должна была бы ею быть. Но от такой умной мысли лучше ему не стало, отчаяние не устранить усилием воли, никто не может приказать самому себе не быть в отчаянии. В том числе и он. Он продолжал сидеть, а точнее лежать одетым на кровати в гостиничном номере, уставившись в телевизор с выключенным звуком. Та самая актриса упорно продолжала что-то объяснять тому самому актеру, которому никак не удавалось вставить слово, и по жестике можно было заключить, что их разговор, а скорее ее монолог в присутствии другого, все-таки постепенно перерастает в ссору. Наташа никогда не ссорилась, с годами она становилась все более отсутствующей, равнодушной, так что и без того едва теплившееся между ними электрическое взаимодействие со временем совсем исчезло.

Да, любовь – это, наверное, что-то истинное.

Но истина – не любовь.

Жегарац до того вечера обо всем этом так серьезно не думал, если вообще когда-либо об этом задумывался. Он просто-напросто жил, как живет, стараясь не делать зла, нанизывал один за другим дни, вставал, шел на работу, возвращался с работы, включал телевизор,

ужинал, спал – и так бесконечно. Постоянно трясясь от озноба. Однако всегда наступает день, или вечер, или минута, когда человек приходит в себя – так распрягается жизнь. Обычно где-то лет около сорока опыт начинает сгущаться, что не так уж и страшно, но с этой поры желания любого свойства постепенно охлаждаются, и это переносится уже гораздо тяжелее, порой даже кажется невыносимым, и Жегарац это почувствовал. Жизнь больше не такая пестрая и многообещающая, как некогда, все идола-гитаристы или мертвы, или превратились в карикатуры на самих себя, а ходить на концерты новых групп, толкаться среди детей, Таниных сверстников, глупо. Он ничего больше во всем этом не понимает, никакой музыки, одни компьютеры, миксы, семплы, ритм-установки... Дошло до того, что лучшими считаются те, кто лучше выглядит, кто лучше упакован, и всем безразлично, умеет ли кто-нибудь из них играть или не умеет, да, вообще-то говоря, после Хендрикса вряд ли найдется кто-либо, играющий настоящему.

Тяжело...

А истина? Истина должна расти, чтобы стать любовью, чтобы достичь ее. Однажды. Или никогда. Чаще всего – никогда.

Жегарац не умел себе объяснить, что происходит с любовью, которая, как в его случае, не реализовывалась до конца, куда она девается. Или не девается никуда, а так и остается внутри нас. Нет, он не думал о такой любви, которая никогда не осуществится, которая длится вечно, точнее сказать, тлеет в неких далеких уголках души, с краю, в облаках. Не думал он и о невероятных

влюбленностях, самых болезненных тогда, когда они взаимны, но не могут по каким-то причинам пробиться в явь, на поверхность. Тогда наступает осознание свинцово-тяжелой невозможности – самого тяжелого и самого бессмысленного чувства, когда не имеешь чего-то и не можешь иметь, а так бы хотелось, и это не менее сильно, чем любое обладание. Но все осталось в мыслях Жегараца где-то на полях, потому что он постоянно видел перед собой себя и Наташу.

В тот вечер в гостиничном номере, наверху, над миром, придавленный чем-то, не имеющим имени, какой-то безвыходностью, дрожа, он казался себе другим, носящим чужое имя и лишь якобы присутствующим в жизни. Вот родился, ну так живи. И еще он казался себе движущимся к некой предполагаемой полноте, а она предстает перед ним пустотой, полулюбовью, состоянием ни здесь ни там, а вблизи чего-то, что на самом деле очень далеко. Да, все дело в том, что перед ним именно эта, состоявшаяся полулюбовь, как Наташина, так и его, а такая любовь, призрачная и слабая, рано или поздно исчезает, выветривается сама собой, по какой-то причине или без нее, которую можно или нельзя обнаружить, не так уж и важно. Причины – это слабое утешение и еще худшее оправдание для неминуемых последствий, тут мало что можно понять, так что над этим не стоит и задумываться, потому что, когда думаешь о том, чего не можешь осознать, возникает отчаяние, чувствуется дыхание ледяной пустыни. Может и не самая большая, но самая существенная часть нас не поддается объяснению словами, она недоступна, принадлежит миру непознанного. Отчаяние, эта тяже-

лая зябкая дрожь, предупреждало его о безграничности неосвоенного в душе пространства, неосвоенного ввиду недоступности, не имеющего имени, которое мы тем больше чувствуем, чем меньше его осознаем, воспринимаем как некое нечто, как Жегарац. В нем по поверхности плавала сотня пустых островов, которые никто никогда не заселит и которые никак нельзя друг с другом связать. Однако ужас держал их вместе...

В дверь постучали.

Жегарац встрепенулся. Встал, пошел к двери. На миг заколебался, открыть или сделать вид, что уже заснул или вышел, но все же взялся за дверную ручку. Открыл. На пороге стоял жираф – не очень-то молодая женщина, красивая, от тридцати до сорока, высокая, почти как Жегарац, она смотрела ему прямо в глаза. На ней был великолепный светлый костюм цвета ванильного мороженого и туфли на очень высоком каблуке. Выглядела она так, будто пришла прямо с торжественного приема, и не будь в руках у нее толстобокого, массивного кожаного медицинского саквояжа, никому бы не пришло в голову, что она занимается массажем.

– Добрый вечер, – сказал Жегарац совершенно спокойно, лишь в первый момент в нем пробудилось любопытство: что же последует дальше.

Женщина улыбнулась, без единого звука, как обычно и делают люди при первой встрече, и рукой показала на свое ухо. Потом приоткрыла рот и испустила какой-то горловой хриплый вздох, из которого ничего нельзя было разобрать. Когда она все это повторила еще раз, Жегарац понял: она глухонемая.

– Понимаю, – проговорил он растерянно, на что женщина осторожно взяла его подбородок и потянула к себе, так что теперь они стояли очень близко, лицом к лицу. Она несколько раз открыла и закрыла рот, прикоснулась к губам указательным и большим пальцами, расставив их наподобие латинской буквы V, направленной к глазам, что должно было означать, что она умеет читать по губам. Улыбка все это время не покидала ее лица, и, когда Жегарац немного отступил в сторону, она перешагнула порог комнаты. Тут же сняла пиджак и сбросила туфли, ловким движением стянула юбку и осталась в черном белье, ее кожа блестела в полумраке комнаты, в котором подрагивали отблески света с экрана телевизора. Жегарац наблюдал за всем, не сводя глаз, чувствуя, как в нем нарастает волна неконтролируемой страсти, той, которая возникает всегда, когда женщина, знакомая или незнакомая, совершенно не важно, обнажается перед мужчиной.

Без лишних движений, по-прежнему с улыбкой, как будто бы на ней маска, она потеснила его к смятой кровати, помогла расстегнуть брюки, спустила их до середины бедер, и через несколько секунд он уже стал расти в ее свежем прохладном рту. Она работала языком, зубами и пальцами точно, как хирург, поднимая глаза, в которых ничего нельзя было прочесть. Потом остановилась, потом продолжила и снова остановилась, заползла ему на живот и села верхом. Жегарац отдался ее равномерным, все более сильным рывкам, извлек из ее лифчика две полные, похожие на груши груди с набухшими сосками и, охваченный страстью, почувствовал, как отчаяние и зябкость в нем тают, по-

добно тому, как тает на огне свинец. Он думал о сотне вещей одновременно и ни об одной отдельно, и в тот момент, когда он погрузился в иррациональное состояние, под опущенными ресницами ему привиделась только начавшая созреть грудь его дочери.

Женщина-жираф соскользнула с него и ушла в ванную, а он, все еще дрожа, достал из переброшенного через спинку стула пиджака бумажник, вынул две самых крупных банкноты, помедлил, взял еще одну, помельче, он не знал, сколько может стоить эта услуга, такого рода опыта у него не было. Должно быть, достаточно, сказал он самому себе и положил деньги возле телевизора. Отключенный от звука диктор программы новостей в сопровождении девушки, которая переводит слова на язык глухонемых, старался сообщить миру еще одну новость о какой-то катастрофе или войне. Безуспешно, Жегарац не умел читать по губам или угадывать жесты в одно целое. Высокая женщина появилась из ванной, нагая, и забралась под одеяло, она еще не собиралась уходить. Жегарац не знал, что следует делать, поэтому лег рядом с ней, прижал ее к себе и при этом ногой соприкоснулся с ее грубой, шершавой пяткой. Он вздрогнул. От ее тела пахло холодом, хотя пару минут назад его под душем обливала горячая вода. Он прижался к ней, пытаясь согреться.

Так и заснул, незаметно, с пустой головой.

Проснувшись незадолго до рассвета, он в первый момент решил, что все это ему приснилось – рядом с ним никого не было. В тишине комнаты на экране телевизора падал снег. Встал, выключил телевизор. Денег на столе не было. Он вышел на небольшой балкон.

Все-таки.

Светало, но вдоль пустых улиц, в сухом и сером морозном утре еще горели фонари. Он шагнул к ограждению, не чувствуя холода, не чувствуя ничего, без малейших раздумий перебросил через парапет ноги и оторвался. Падая в пропасть, свободный от всего, успел подумать, что, может быть, умеет летать.

И раскинул в стороны руки.

Добродей – мучитель букашек (Николаю Васильевичу Гоголю посвящается)

Идешь по улице, и вдруг – Дыра.

Р а ш а Л и в а д а ¹

« В р а т а »

Некое время назад в нашем шахтерском городке Б. сгинул бродячий кукольный театр. Просто-напросто разорился. Весть вмиг разнеслась по округе и достигла ушей многих...

Однако вот что, не дайте соврать, случилось в прошлую пятницу. Его благородию Ивайло Ивайловичу Муксунову взбрело в голову совершить доброе дело. Просто так, безо всякой видимой причины. Как говорится, на ровном месте. При взгляде непредвзятом и сообразно с высшим промыслом, ничего странного в этом не было, ибо сей образцовый гражданин так и так прилагал усилия к тому, чтобы слыть человеком добродетельным, – и прилично тому поступал.

Всегда готовый, как говорят, «услужить» и «вспомоществовать» всем и каждому прозорливым словом, Ивайло Ивайлович вел жизнь человека праведного, каждым мановением доказующего, что уж он-то отличит добро от зла, богоугодность от непотребства – так-то вот. Но пуще прежнего на сей раз дала себя знать

1 Раша Ливада (1948–2007) – сербский поэт.

мощь посетившего его гуманного устремления. Столь зримо и явственно предстал пред ним вышеупомянутый помысел, что стоило бы его назвать скорее озарением, нежели обычною мыслию, коя может завладеть простым смертным. А посему не преминем и повторить: может статься – хотя и тот, кому ведомо все на свете, не дал бы руку на отсечение, – порыв явить миру некое благое действо обуславливался предвкушением: не сегодня-завтра в адрес И.И. Муксунова должна была поступить давным-давно посуленная, вожделенная посылка с экземплярами экзотических африканских жучков.

Как бы там ни было, невзирая ни на какие взаимосвязи, следовало срочно что-то предпринять, непременно – поскольку, как вам известно, замыслам не подобает таковыми и оставаться, им просто насущно необходимо воплощение. Иначе они сродни ничемным прожектам, коим столь привержена боольшая часть человечества, ибо размышлять можно обо всем и всяко, а в конце выходит полный пшик: легковесная иллюзия прежняя с появлением иллюзии новой развеивается аки по ветру. И только редкие люди, наделенные силой воли, способны свои идеи и намерения осуществить на деле; однако же все указывает на то, что его благородие Ивайло Ивайлович Муксунов, приземистый с виду, представительный, благовоспитанный человек с изрядно-умеренным пузцом, пятидесяти лет от роду, по характеру занятий толстосум, а вообще-то закоренелый холостяк, ибо не нашлось ему во всей округе партии с достойным приданым, был именно од-

ним из таких редкостных экземпляров – микроскопическая алмазная кроха в океане человеческого песка.

Он сразу же сообразил, что надлежит совершить. И, как водится, что на ум пришло – то и в люди пошло...

Тут же повелел он призвать к нему Оксима Акакиевича Онопко, честного, но неимущего человека, которого даже собаки обходили стороной, не имея за что его укусить. Вдовцом Онопко не был – женился он трижды, и все три раза жены его покидали, чему споспешествовало двести восемь причин, первой из которых было, разумеется, полное отсутствие интереса к благам земным, среди которых деньгам отводится главенствующее место. Трижды брошенный муж обходился с деньгами, как пьяный со своими штанами, а если ему что-то перепало, то тут же и ускользало из рук. Единственной его прибылью от этих, с позволения сказать, браков, было трое детей – девочка, мальчик и еще одна девочка, младшие старшим ростом по плечо, все от разных матерей. Жены бросали его, снова выходили замуж, пускались во все тяжкие, а детей, словно излишнее бремя, неизменно сваливали на папашу, он же покорно и кротко, со смирением человека, знающего, что есть судьба, безропотно принимал все, ему уготованное.

Дети его были святыми до прозрачности... Нет-нет, я не оговорился – именно святыми, а не светлыми, хотя свет и святость друг без друга немыслимы. Так вот, столь святыми и прозрачными они были, что ночью, когда они спали – дети гуртом на одной-единственной кровати, а Оксим на печи, – от них исходил эда-

кий голубоватый свет, каким светится луна в полнолуние. Питались они одним воздухом, а Оксим, подобно курице, подбирал за ними остатки их трапезы. Голод одухотворяет – видения не приходят к тем, кто ест вдоволь и помышляет лишь о том, что будет на обед. Оксим жил с ангелами – жил как живется. Он и думать не думал о своем отдаленном родстве со знаменитым Аакием Аакиевичем, высшим чиновником Государственного казначейства, который проживал в соседнем городе Н.

Распорядившись насчет Оксима, Ивайло Ивайлович Муксунов облачился в свои присутственные одежды, причесался перед зеркалом, проверил, ладно ли повязан шелковый шарф, и – да пребудет с нами удача! – обласкал перстами розетку ордена Святой Анны второй степени, пригладил бакенбарды и направился прямо в контору Владимира Готфридовича Шпарвассера, принявшего православие волжского немца, самого знатного местного банкира, коего держал за друга – при том, что суть этой дружбы составляла взаимный интерес. А как же иначе – Ивайло Ивайлович преимущественную часть своих средств, исчисляемых миллионами в любой валюте, какую ни возьми, помещал именно у Шпарвассера, конечно же с хорошей процентной ставкой и прочими выгодами. Чего, собственно, и ожидать-то от самого зажиточного человека в округе, помимо еженощного прирастания его капитала? Чего еще ждать от человека, волею судеб откликающегося на имя Шпарвассер, кроме как сохранения и преумножения средств, – деньги, чай, не водица? Вот и попробуй оспорь то, что имя – это судьба: Ивайло – одно, Вла-

димир Готфридович – совсем другое, а Оксим – и вовсе нечто третье – и все же их пути в один прекрасный момент, по причине то ли объяснимой, а то и совсем без нее, вдруг встретились и пересеклись.

Шпарвассер с раннего утра сидел за своим бюро в банковской конторе, размышляя, как бы ему без особых потерь избавиться от облигаций государственного займа, перспективы выплат по которым выглядели крайне сомнительно. Ему было доподлинно известно, что и на самого прожженного спекулянта найдется верховный спекулянт, именуемый государством, – то самое чудище облое, ненасытное, супротив которого все прочее – лишь пища для прожорливой глотки, та прорва, что зияет, аки бездонная бочка. Однако же Шпарвассер, с точки зрения государственного капитала, который, по мере надобности, измеряется бесконечным числом нулей, был лишь мелкой рыбешкой, пройдохой-ростовщиком, готовым при случае продать за горстку сребреников и собственную супругу, и самого Бога. Вот только государство-то не продашь – с кем тогда делать бизнес? Но облигации эти и взаправду были дрянь, да что тут обиновать – просто расписная гербовая бумага. По тем же мотивам Шпарвассер в свое время вовлекся в процесс закрытия местных шахт, и вот – обнищали десятки шахтерских семей: отцы спились, предпочитая ничего вокруг не видеть, сыновья встали на путь грабежа и разбоя, а жены и дочери... даже сказать не смею, чему предались они и как сводили концы с концами.

Внезапный визит Муксунова отнюдь не удивил Шпарвассера: толстосумы, как правило, приходят

к банкиру в момент, когда их осеняет блестящая идея или прихоть. Собеседники теплейшим образом приветствовали друг друга, при этом каждый из них сверлил другого глазами – уж не замышляет ли тот какую махинацию. Обоюдно поинтересовавшись здоровьем, наконец, присели на кожаное канапе. Тем временем подали чай с пирожными, и потекла серьезная беседа.

– Давайте-ка, Готич, – этим фамильярным обращением Муксунов как бы подчеркивал свои близкодружественные отношения со Шпарвассером, – сразу перейдем к делу. На сей раз речь не о деньгах... То есть... и о деньгах тоже, но не то чтобы напрямую.

У Шпарвассера поначалу вроде как от сердца отлегло. Похоже, подумал он, этого Ивайловича опять посетила гениальная мысль что-то наварить, своего рода комбинация-компенсация... Однако он все же не дал волю облегчению. Осторожность – мать биржевой игры: кому какое дело до номинала! Я вас умоляю – здесь запрашиваешь столько, сколько готовы дать: как надуешь, так и заплатят, лишь бы каждый полагал, что внакладе осталась противная сторона.

– Ну что ж, Ивайлыч, – так «по-дружески» имел обыкновение обращаться к Муксунову Шпарвассер, – слушаю вас со всем вниманием.

– Ну так, значит... Не вы ли возглавляли процедуру банкротства, возбужденную в нашем городе займодавцами против бродячего театра – когда, бишь, это было – на той неделе? Так вот, уважаемый Готич, я готов принять их скарб, а вам взамен уплатить семьдесят пять процентов от стоимости вашего пакета государст-

венных облигаций с полугодовой отсрочкой. Разумеется, если проценты мы поделим поровну.

«Уж не сам ли господь Бог мне тебя послал? – промелькнуло в голове Шпарвассера. – Вот так вот взять и убить двух зайцев разом!» Он был готов согласиться немедленно – кто ж упустит такое предложение! И все же постарался не выказать каких-либо чувств, кроме обычного в таких случаях желания разобраться в вопросе, какое, по крайней мере на первый взгляд, не спутаешь с азартом. Осторожность – прежде всего...

В тот день Шпарвассер был в особом ударе – гениальные ходы так и роились в его голове.

– Ивайлыч, дружище, это небезынтересно, я подумую. Но что касается процентов, то тут я, получается, остаюсь на бобах. Хотя, дружбы нашей ради, можно и помозговать. Семьдесят пять процентов наличными за бумаги – недурно, но если говорить о процентах, то я предлагаю так: шестьдесят – мне, сорок – вам. И фортепиано в придачу.

– Какое-такое фортепиано? – выпалил Муксунов, не в силах сдерживать изумления, – будто кто потянул его за язык.

– Видите ли, от театра остался еще и рояль, на нем аккомпанировали певцам, – в спектаклях были музыкальные номера. Вернее сказать, пианино, в хорошем состоянии. Моя старшая дочь берет уроки у Анисы Мамалыги...

– Как вы сказали? Аниса?..

– Э-э-э, не прикидывайтесь. Вам ли не знать эту старую распомаженную кокетку – то надует губки, то их подожмет... Мамалыга.

– Ах, да-да, Аниса.

Муксунову тут же вспомнился роман, случившийся у него с упомянутой особой, но смутить себя он не дал. Было и прошло, подумаешь. Таким вещам вообще не стоит придавать значения: прибыли – ноль, а тихих безмолвных страданий, бередящих душу, – хоть отбавляй...

– Ну и что она там, эта Мамалыга? – спросил Муксунов.

– Опробовала пианино. Говорит, хорошенько настроить – и будет как новое. Нет причин ей не верить. У моей дочери точно такое же, она прилежно упражняется, и Мамалыга хвалит: абсолютный слух, говорит. Твердит еще – наверное, оправдывается за дорожные уроки, – что обучить можно лишь базовым навыкам, все остальное – от Бога.

«Вот только рояля, то бишь пианино, мне не доставало, на кой ляд Оксимовым деткам этот рояль, им что – тряпичных кукол мало будет? А с другой стороны, пусть голодные малютки поиграют, развлекутся, забудутся, – размышлял благородный человек Муксунов. – Ну, так и быть: возьму-ка я и это, черт его дери, пианино – вдруг кто из сироток вздумает обучиться игре»...

– Ладно, – сказал он, чуть поколебавшись. – Пианино беру, но проценты – поровну, и точка. Вы ведь и сами знаете, что насчет возврата займа – еще бабушка надвое сказала. Вообще не понимаю, что меня дернуло предложить вам три четверти, да еще наличными. Не многовато ли? Я, с позволения сказать, принимаю на себя все ваши риски. Но опять-таки – чего не сделаешь ради дружбы, а?

– Похоже, дружище, вы правы, – Шпарвассер даже поежился, представив себе, что предстоящая сделка вот-вот сорвется. Что ж, назад дороги нет. И, собравшись с духом, продолжил, уже примирительным тоном: – По правде сказать, я с вами всецело согласен...

Последовала пауза, оба выжидали: то ли Шпарвассер продолжит дискуссию, то ли Муксунов прервет ее нетерпеливым замечанием.

Случилось именно второе. Муксунов не утерпел:

– Ну, Готич, говорите же.

– Видите ли, тут имеется еще и пони. Лошадка такая. Очень симпатичная, отнюдь не старая, разве что слегка недокормленная.

– Что еще за лошадка? К чему мне лошадка?

– А вот к чему: пони – тоже часть изъятых имуществ театра. Надо же было на чем-то перевозить пианино и прочий театральный реквизит – декорации, знаете ли, костюмы, занавес...

– Уж не хотите ли вы сказать, что прилагается еще и тележка?

– Конечно, да, но ее уже забрал за долги кто-то из взыскателей, поскольку она была в приличном состоянии и по деньгам ее оценили даже чуть выше суммы задолженности. Каждому свое. Нет долгов – чиста любовь.

– А что же случилось с хозяином театра?

– Его самого, его жену и двух дочерей наш градоначальник – его высокоблагородие Жукоедов – взял в услужение. Они зарекомендовали себя необычайно ценной челядью: играют, поют, декламируют, знают бонтон, по-французски болтают запросто – и все это

за крышу над головой и тарелку супа. О, сколь он милостив, наш высокодостойный, правосудный, благоурожденный, великообразованный, превосходительный верховный градопопечитель, в былом – управитель шахты, всем нам пример, само милосердие и, сказать осмелюсь, добрейшей души человек – да упасет его, хвала ему и слава, Господь, его и домочадцев...

– Хм, так-то оно так, – согласился Муксунов, не расточая слов и без особого подъема, ибо столь высокая оценка ему внутренне претила – ведь, тая гордыню, самым ярым добродеем в подлунном мире он привык считать собственную скромную и чуткую персону. К тому же и фамилия градоначальника ему ничуть не нравилась – она неизменно напоминала ему, хм, о его собственной тайной страстишке. Дело в том, что Муксунов обожал возиться и канителиться с букашками – что поделаешь, средь миллионов маний, коими изобилует сей свет, бытует и такая. Есть люди, которые коллекционируют козявок, их разглядывают, препарируют, классифицируют, покупают, меняют, описывают, но редко меж ними встретишь тех, кто любит их истязать, а именно таким диковинным типом и был Муксунов. Насладившись обладанием той или иной частью своей весьма обширной коллекции насекомых, он приступал к действиям, приводившим его в настоящий плотский восторг: изымая из коробочек жучков, одного за другим, он отрывал им лапки, взрезал их, рассматривал под лупой кишочки и как только ни измывался над несчастными подопытными тварями, а после всего этого, хоронясь от всего мира, а может, и от себя самого, поедал их...

...Вот и придумал он, так сказать, во искупление грехов своих, благодетельствовать сироток Оксима, даровав им несколько тряпичных куколок, а теперь, выходит, получают бедняжки еще и рояль – ладно уж, пианино, – и самую что ни на есть настоящую лошадку, пусть не арабского скакуна и даже не тяжеловоза, а всего-навсего пони, хм, а что если на поверку он окажется клячей при последнем издыхании? А, будь что будет: дареному коню в зубы не смотрят, даже если речь и в самом деле идет о лошади, как на этот раз.

Распрощались, и каждый знал, что перехитрил другого. Ивайло Ивайлович сокрыл, что при содействии финансового воротилы Акакия Акакиевича, с которым он был на короткой ноге, ему удастся досрочно снять проценты по полученным облигациям, основная же сумма, которая очутится в его обладании, глядишь, если подмазать где надо, попадет в реестр первоочередных выплат. Любое государство, которое держит марку, любая уважающая себя держава – а ведь в имени заложено все и уже в самом слове «держава» слышится «держать» – считается с тем, что среди равных должны быть и более равные. Шпарвассер, в свою очередь, все никак не мог нарадоваться своей смекалке. Шутка ли – ему удалось сбавить неликвидные пожитки разорившегося театра кукол, а впридачу – еще и облигации, которые он тоже не знал, куда деть. Наконец-то он избавился и от этого заморыша пони, которого ему уже надоело кормить и обихаживать. К тому же пианино и прочий театральный хлам занимали слишком много места в кладовке, а уж сколько собирали пыли – той,

мелкой, что остается на пальцах, стоит только чего-нибудь случайно коснуться.

И все-таки и у того, и у другого участника сделки, как у всякого записного спекулянта, оставалось в душе крохотное, едва тлеющее, но неугасимое подозрение: а что если в итоге противник выгадал больше...

Когда же Ивайло Ивайлович добрался домой, там его уже ждал бедолага Оксим, отец троих истощенных, светящихся насквозь детей. Он понуро сидел в сенях на краешке шляпной подставки. Увидев хозяина, привстал и, комкая в руках шапку, произнес:

– Мое вам почтение, ваша милость Ивайло Ивайлович. Вы меня звали – и вот он я.

– Звал-звал, Оксим Акакиевич, – отвечал Муксунов тоном, какой берут господа при разговоре с низами общественной иерархии. – Я намерен порадовать ваших деточек, примерно одарив их. Такие чудные детишки – и сиротки, пусть же, Всевышнему в угодую, им будет радость.

– Ну что вы... Не знаю, как и благодарить вашу милость, – пробормотал Оксим с неподдельным смущением человека, который ничего хорошего от жизни давно уж не ждет и посему любой знак внимания к себе принимает как благодать земную. – Благодарствуйте, только... И что ж вы, уж не взыщите, им подарите?

– Младшенькой – тряпичных куколок, с небольшой кулисой. Сынку – лошадку, пусть малорослую, но самую взаправдашнюю, а старшенькой – фортепиано, может, у девочки обнаружится слух... Нельзя узнать, умеешь ли ты играть на пианино, хоть раз не попробовав.

Оксим был ошарашен. Он уже и не дивился странностям богатеев, а пуще всего – Муксунова, благородия, день-деньской колдовавшего над жучками-паучками, но такие дары ему не могли пригрезиться ни во сне, ни наяву. Да, Оксим ничего не смыслил ни в деньгах, ни в вещах, задающих тон в отношениях между людьми, и никогда ничего не подсчитывал наперед. Но и ему не могла не вьестся в душу древнейшая общеизвестная истина: даже самый щедрый дар бедняку не впрок, если это не звонкая монета. Подарите нищему дворец, хоромы – для него это сущая безделица против горстки мелочи... Ибо – и в этом кроется суть древней премудрости – денежке обрадуется всяк, тем более бедняк.

– Благодарствуйте, Ивайло Ивайлович, но таких подарков мне не принять, – осмелился вымолвить Оксим.

– Как так? – изумился Муксунов. – Это еще почему!?

«Боже ж ты мой, вот она, черная неблагодарность!» – подумал он, однако убогому Оксиму вслух этого не сказал: общаясь с беднотой, высокие господа обыкновенно скрывают свои чувства и следят за тем, чтобы глаголить никак не превыше нужды.

– Ну... э-э... я не знаю, что и делать с ними. И деть все это некуда, да и скотину я не прокормлю – мне хотя бы детям на пропитание добыть...

– А уж это меня, Оксим Акакиевич, нимало не касается. Вот вам моя задумка – а дальше дело за вами. Дарите, меняйте, продавайте – распоряжайтесь. Я, кстати, велел доставить вам подарки прямо домой, вернетесь – увидите все своими глазами. И я уверен: детишки возликуют, будут в вашем доме и песни, и веселье. Неужто

вы не знаете, что дети обожают животинок, а уж петь, играть в куклы – и того пуще! Не знаете – так вот и узнаете...

Тем разговор и кончился.

Оксим побрел домой, и голова его просто трещала от дум (ведь обычно у бедняка нет иных думок, кроме как поесть досыта) – что делать, как быть? Ну да ладно, Бог управит, он печется о неимущих. Эх, полоса от горя до радости не шире детской ладошки, да и та не осилит октаву.

Муксунов же удалился в свои покои и занялся жучками. Немаловероятно, что, обуреваемый страстью, он отгрыз крылышко у эфиопского таракана и сжевал пару-тройку дебелих египетских шмелей.

...

Ближе к вечеру, гордый собой и явленным миру благодеянием, коему предшествовала исключительно хитроумная мыслительно-хозяйственная операция, его благородие Ивайло Ивайлович Муксунов решил завершить день обстоятельной прогулкой по проспекту, полагая при этом, как подспудно, так и сознательно, что все взоры будут устремлены только на него, а читаться в них будет почет и признание. Это, не будем умалчивать, весьма льстило его самолюбию. Выйдя в сумерках на главную артерию города, он с удивлением заметил, что вокруг – ни души, словно на город сбросили водородную бомбу (сказано сие фигурально, ибо такого рода бомба, оставляющая вокруг запустение, изобретена будет лишь век спустя).

Птиц не слышать – ни дрозд не свистнет, ни воробей не чирикнет. А Муксунов идет и идет, как заво-

роженный, застигнутый врасплох пустыней, и вдруг видит лежащего посередь дороги человека, а глава его свешена в сточный колодец. И, направив стопы к лежащему, все в том же забытии, Муксунов не замечает, что рядом, совсем поблизости, прямо пред ним, зияет такой же колодец со сдвинутой крышкой. *Фьють* – почти беззвучно или, лучше сказать, со звуком, напоминающим первый робкий посвист предрассветного дрозда – он соскальзывает в бездну.

И поглотила его пустота.

Было все это, не дайте соврать, в прошлую пятницу. И с тех пор о его благородии Ивайле Ивайловиче Муксунове ни слуху, ни духу, ни цокота, ни стрекота, ни шелеста перепончатых крыл – как сквозь землю провалился. По всей вероятности, именно это с ним и произошло.

Первые десять лет

*Только когда мы начинаем
вспоминать,
мы видим, сколько в нас забытой
жизни.*

Грейс Келли

*Воспоминания склонны
к выдумыванию событий.*

Кит Ричардс

*Действительно ли было то, что
мы вспоминаем?*

Драголюб

Мичунович

*А мои воспоминания всегда
начинаются с конца, не так, как
я сейчас рассказываю, поэтому,
может быть, немного неточно,
но по-другому вы бы не поняли.*

Меша Селимович

*Мы вспоминаем не то, что мы
хотели бы вспомнить, а то, что
хочет вспоминаться, делает это
посредством нас. Так или иначе,
ранние воспоминания – основа
любого воображения.*

М. П.

Первое, что я помню, – грузовик. Игрушка. Я сижу на полу в кухне и пристально всматриваюсь, как под гипнозом, в свою первую игрушку. Ту-ту, ту-ту – едет грузовик. Мой грузовик. И я не помню ничего другого,

только этот грузовик, мне, может быть, два с половиной, не больше трех лет. Позже, намного позже, я уже взрослый человек, на известие о смерти дяди откуда-то из подсознания всплывает понимание, что мне его привез в подарок именно он, мой дядя, брат отца, моряк; вижу, как он стоит в дверях в белой матросской форме, с синими полосками. На флоте в то время – еще были свежи воспоминания о войне – служили долгих три года; дядя, ушедший в армию юношей и вернувшийся взрослым мужчиной, использовал тяжело заработанный или с еще большим трудом выпрошенный отпуск, чтобы увидеть меня в первый раз. Из этого я делаю вывод, что трех лет мне еще не исполнилось. По моде того времени почему-то считалось шикарным одевать маленьких детей в матросские костюмчики. У меня есть одна такая фотография, я маленький матрос, на качающейся деревянной лошадке, каковая была частью обязательного реквизита в любом конкурентоспособном фотоателье, из тех, что получше. Самолеты, грузовики, на память о ЮНА¹, счастливые молодожены и так далее.

Все это давняя история. Навсегда ушедшая, память ничего не может с этим поделать – навсегда.

* * *

А вот этого я не помню, мне рассказали. Иногда мои тетки водили меня на прогулку вдоль реки. В один из таких дней я подошел к воде, взял в руку веточку, упавшую с дерева, и сел на берег. Меня спросили, что

1 Югославская народная армия.

это я делаю. «Ловлю рыбу», – ответил я. Потом тетя мне рассказывала, что никогда на этой части реки, где мы гуляли, мы не видели ни одного рыболова, она могла бы поклясться. И в моей семье, в этом я уверен, не было рыболовов. Что меня подтолкнуло сделать что-то, чего я никогда раньше не видел или, может быть, все-таки видел, краем детского глаза, не сознавая, что вижу? Кто знает.

Если бы я верил в реинкарнацию, то мог бы легко сделать вывод, что в какой-то прежней жизни был рыбаком, например в каком-нибудь японском рыбацком поселке или в Перу, хотя не очень-то в это верится. Но я верю в магию воды. Я ощутил ее, будучи трехлетним мальчиком, и с тех пор она меня не отпускает. Я ловил рыбу в море, часами просиживая на молу или деревянных мостках, погруженных в мелководье лагуны, ни посулами, ни угрозами меня не могли оттуда согнать; часами меня зазывали поесть, а более серьезно настоящей рыбалкой я начал заниматься в начальной школе. Это междуречье в моем городе в то время было заболоченным пустырем, квартал, где я жил, одним из первых построили на насыпной песчаной дамбе. Рядом проходила железная дорога, а там, за рельсами, начиналось наше царство, сеть каналов и луж, междуречье, заросшее урутью, камышом, вербами, кувшинками, населенное рыбами, птицами и мелкой живностью. Как ни посмотри, у меня было необычное детство: рядом с бетонной пустошью мегаполиса я параллельно знакомился с почти нетронутой природой. Продолжалось это недолго, за два-три лета болото засыпали песком, так что теперь я живу на том же месте, точно,

метр в метр, где когда-то ловил краснопёррок, окуньков и щук. Это были мои первые рыбки, во всех смыслах слова. Серебристого карася, у нас называемого «бабушка», тогда, к счастью, не было. «Бабушки» (во всех смыслах слова) появились позже...

* * *

В три года я тонул в реке. Помню так, как будто это было вчера. Я зашел на мелководье, до колен, меня тянуло в воду. Еще один шаг, то ли галька ушла из под моей маленькой ноги, и меня затянуло в водоворот, я попытался вдохнуть, но глотнул воды и стал захлебываться, не знаю, молотил ли руками, только время от времени мне удавалось поднять голову над поверхностью воды; черт его знает, испугался ли я, но только подумал, что скоро умру, тогда у меня впервые мелькнула мысль о смерти. Это – когда нас нет. А потом меня схватили чьи-то сильные руки и легко вынесли на берег, летом и не такая уж большая река, везде, кроме омутов, ее можно перейти вброд... Это был какой-то солдат, теперь я придумываю, потому что ничего о нем не знаю, может быть, родом из далеких краев, может быть, сбежавший из части тем адски жарким летним днем искупаться, и вот здесь мы встретились, чтобы не встретиться больше никогда, его рука и моя детская голова, благодаря чему я сейчас все это пишу и обо всем думаю, иначе давно бы лежал в забвении, как это однажды и случится, неумолимо, в силу времени, все мы однажды станем забвением, любое воспоминание имеет свой срок, если не станет рассказом...

* * *

Лет пять-шесть спустя опять было жаркое лето, мы с ребятами убежали купаться на другую, еще меньшую речушку, где мы, когда тетя мне разрешала, иногда ловили карпиков и раков. Но в тот раз мы ушли подальше от дома, на излучину, где течение быстрое и впадает в глубокий водоворот. Здесь можно было прыгать вниз головой, а еще мы состязались, кто первым переплывет речку в несколько замахов. Горожане, генетически склонные к преувеличениям (если их кусал комар, они говорили: «Заколот меня комар!»), называли водоворот Манитовац¹, хотя, по правде говоря, в том, якобы бешеном месте, не было никакого неистовства, а только небольшое расширение неспешного течения реки. Но здесь когда-то, мне рассказывали, утонула Зора, моя двоюродная сестра, и Манитовац таким образом укрепил свою дурную славу; атавистический страх воды имеет свои глубокие корни и причину, из воды мы вышли, в воду и уйдем.

Мы только-только пришли на реку, огорченные тем, что хозяин ближнего фруктового сада утыкал кромку забора осколками разбитых стеклянных бутылок, и мы больше не сможем, перемахнув через него, красть зеленые сливы, как вдруг, злой, каким я его никогда не видел, перед нами возник мой дядя. «Что вы тут делаете, безобразники, марш домой, я вам сейчас покажу!» Так мы, повесив носы, и поступили, не будет ни купания, ни карпиков, ни раков. Тридцать с лиш-

1 Бешеный, неистовый (серб.).

ним лет спустя я проходил мимо Манитоваца, водоворот оказался спрятанным, будто в большой кастрюле, мне казалось, что я могу его выпить в три глотка, а ближайший холм, на который учительница Никчевич водила нас смотреть на окрестности и определять стороны света (оближешь указательный палец и узнаешь, откуда дует ветер), показался мне какой-то лилипутской кочкой. В воспоминаниях вещи часто оказываются в сто раз больше, чем на самом деле. Но по мере нашего старения они уменьшаются, будто исчезают, как в мыслях, так и в реальности.

* * *

Меня выводят на небольшой балкон. Я держусь за чью-то ногу, выглядываю между столбиками балюстрады, высоко над землей. Внизу, под нами, толпится масса народу, потом я увижу столько людей только в 1997-м, на встрече Сербского Нового года, когда весь Белград воздвигся, чтобы опровергнуть наглую ложь. Но здесь речь о другой большой и длительной иллюзии, в которой я вырос, которой присягали даже те, кто сейчас говорит, будто бы не верили в нее. Большой военный парад грохочет по улицам, солдаты и офицеры в безупречно выстроенных колоннах, танки, джипы и грузовики, похожие на тот, что мне купил дядя, брат отца, только в сто раз больше. И люди, с оружием и без оружия, люди, выкрикивающие лозунги, аплодисменты и голоса летят в небо, пулеметы, пушки, ракеты – все это приводит меня в возбуждение, которого я не понимаю, но ощущаю очень сильно. Потом мы уез-

жаем на другой конец города, к дяде, маминному брату, на обед, и я в ванной комнате первый раз в жизни вижу ручной душ, который напоминает мне телефонную трубку. Наш душ, неподвижный, был укреплен высоко, из него, когда меня купали, вода лилась потоками, как дождь, а этот можно было поворачивать, как хочешь. Именно так я и поступаю, но оказываюсь облившимся водой с ног до головы. Привстаю на цыпочки и на стеклянной полке под зеркалом рассматриваю мелочи: бритвенный прибор, расчески, флакончики с лосьонами и духами, в одной картонной коробочке вижу овальные пакетики в золотой фольге, похожие на шоколадки, но это не шоколадки, они какие-то резиновые, обсыпанные тальком; у зубной пасты вкус клубники, я пробую, и мне нравится, я хочу съесть ее немного, но меня тошнит. Выхожу из ванной комнаты, мокрый и замызганный, взрослые заняты каким-то полнометражным разговором. Меня никто не замечает...

* * *

А потом мне кто-то принес голубей, в подарок. Они были молоденькие, еще не летали. Я бегал за ними, хотел поймать хотя бы одного. Но они были сноровистей меня. «Посыпь им хвост солью», – сказал мне дядя и дал солонку. Я опять бегал за ними, пытаюсь посолить им хвосты. Ничего не выходило. Я хныкал, а все надо мной смеялись. «Ладно, пошли в кондитерскую», – сказал дядя, чтобы меня утешить, но там не было сутлияша, сладкой рисовой каши. Я любил сутлияш с корицей. «Возьми тулумбу». «Не хочу тулумбу, хочу рисо-

вую кашу». «Этому ребенку никто не угодит», – сказал дядя кондитеру, а потом повернулся ко мне: «Вот бы мне узнать, кто тебе насыплет соли на хвост, – проце-дил он сердито, – пошли домой».

* * *

Из игрушек еще помню черный кольт, ковбойский (так я его называл), который при помощи проволочной пружины выбрасывает из барабана желтые пули. Та-та-та, я стрелял из него целыми днями, до хрипоты, пока пружина не ослабла настолько, что пуля едва выползала из ствола и падала мне под ноги, *хлоп*, а потом и его не стало. Помню лук и стрелы, настоящий лук, как у индейца, с кисточками, а стрел было три, и первый его владелец, какой-то мальчишка старше меня, метко попадал в ворота гаража во дворе. Ух, как мне хотелось такой лук. «Три сотни», – сказал этот мальчик, я не знал, сколько это, пошел на кухню, встал на цыпочки, достал из шкафчика банку с деньгами и отнес ее во двор. «Вот, возьми», – сказал я ему, у мальчика заблестели глаза. Он засунул пальцы в банку, вытащил несколько купюр, пихнул мне в одну руку лук и стрелы, в другую – банку, и был таков, как будто его никогда тут и не было. Я не знал, что делать с таким молниеносно полученным даром, если это был дар. Вдруг я понял, что чистый объект желаний принадлежит мне, что он мой, лук и стрелы больше не выглядели столь же привлекательно, как несколько дней назад в руках недавнего владельца бесценного сокровища. Никто из домашних мне ничего не сказал, банка с деньгами была

возвращена на свое место, а лук и стрелы бесследно исчезли. И мне совсем их не было жаль, нисколько. Потом мне дали в утешение другой, безыскусно сработанный из ветки граба. Я на него даже не взглянул.

* * *

По праздникам мне давали настоящий пистолет, военный трофей, без пули в стволе и без обоймы (потому что он был очень тяжелый, я едва удерживал его детскими руками), чтобы я носился с ним по комнатам и играл в партизан и немцев; я, разумеется, партизан, немцы где-то там за диваном, в самом дальнем углу комнаты, в темноте между стеной и массивным шифоньером с прекрасной ореховой фурнитурой – тут они разместили свое пулеметное гнездо. Распластавшись на паркете и ковре, подкрадываюсь и стреляю, стреляю и стреляю, как Мирко и Славко, до тех пор, пока не наступает полная тишина. Наверное, они отступили в подвал, догадываюсь я, но боюсь темноты, мне нельзя туда спускаться. Пятьдесят лет спустя я спустился в этот подвал, в городе, который теперь заграница. Там пахло плесенью, квашеной капустой, углем, пылью... На дверях квартиры на первом этаже, где мы когда-то жили, табличка с неизвестной фамилией. Я не стал звонить в эту дверь, мысленно пройдя по комнатам: сразу за дверью большая прихожая, с левой стороны, окнами на улицу, кухня со столовой, здесь я катал тот грузовик, подаренный дядей (а дядя позже действительно водил грузовики), дальше две большие комнаты, «зала», или «комбинированная», как тогда говорили (в нее

заходили редко), с дорогой мебелью, хрустальными и фарфоровыми, никогда не использовавшимися сервизами в застекленных сервантах, и спальня, с большой, никогда не использовавшейся супружеской кроватью и двумя небольшими диванчиками. На одном из них сплю я. Справа от прихожей ванная комната, с бронзовой ванной на львиных лапах и большим зеленым бойлером, который, как печку, надо топить дровами. Банный день по субботам, а каждое утро – умывание (сначала почистить зубы, щетка должна двигаться по кругу, а не туда-сюда, потом, как кот, вычищая из уголков глаз желтые комочки слизи, руки только смачиваю, я тер ладонь о ладонь, хотя и знал, что так нельзя, а надо, будто в ладонях душишь мышь, и сразу же вытираюсь полотенцем), а вечером – мытье ног. Через маленькое окно с молочным стеклом проникает бледный свет. Однажды я здесь поскользнулся на мокром полу и влетел под раковину, которая была плохо закреплена на стене и свалилась мне на голову. Раковина треснула пополам, но я, каким-то чудом, не пострадал.

* * *

Рядом с ванной чулан, в нем несколько полок со старьем и инструментами («Не трогай этот молоток, отобьешь пальцы»), а я все-таки, может быть, как раз потому что мне запрещали, больше всего любил именно этот молоток) и холодильник-сундук с кассетами для льда, его использовали только в самые жаркие летние месяцы. А ступеньки ведут вниз, в подвал, в темноту, полную немцев. Задняя дверь дома выходит во двор по-

луразрушенного здания, где мы тоже играем в партизан и немцев. В одной атаке какой-то храбрый бомбист попадает мне в голову стеклянной бутылкой с песком. Ненадолго теряю сознание. Меня отвозят в больницу и там ставят две скобки. В другой раз, при героическом перепрыгивании через забор с колючей проволокой, которую немцы протянули вокруг своего бункера, а эта проволока на самом деле ограждала участок дома, разрушенного при землетрясении, я сильно порезался с внутренней стороны бедра. Кожа была содрана, под ней, что странно, при небольшом количестве крови обнажился блестящий слой мышц. Меня отвезли в больницу и наложили пять швов. Шрам остался до сих пор.

У меня много шрамов. Меньше всего болят те, что заметны

* * *

От первого посещения зоопарка в памяти осталась только широко разинутая пасть гиппопотама. Служитель засунул ему в челюсть половину большого арбуза, чудовище чавкнуло, закрыло пасть и нырнуло в мутную воду своего небольшого бассейна. Над поверхностью воды остались только глаза и макушка. Со временем это стало моим детским ночным кошмаром; мне снилось, как добродушное с виду чудовище выныривает из моего болотистого сна и раскрывает огромную пасть, чтобы меня проглотить. Не-ет, не-ет, кричал я и просыпался, описавшись от страха...

* * *

Они купили автомобиль. Русский «москвич», блестящая, приземистая машина, шумная, как небольшой трактор. В кабине во время движения обычный разговор не слышен. Все кричат, но это никому не мешает. Летом, в самое пекло в «москвиче» включается печка, чтобы мотор не закипел, но этого никто не замечает. Обливаемся потом, зато можем поехать, куда хочется.

Смотри-ка, едем. И, правда, однажды летом мы ездили и ездили, останавливались, где приходило в голову, разбивали лагерь на полянах и в лесах. Где-то в горах, у зеленого озера, мы остановились не по своей воле – острый камешек макадама проколол переднее колесо стойкого «русского». Шел дождь, спать в темном лесу было интересно, далеко от людей, растянувшись в кабине на разложенных сиденьях или в палатке на надувном матрасе, и слушать, как дождь барабанит по крыше или непромокаемому полотну палатки. Утром разошлись облака, мы позавтракали на свежем воздухе, густом, как масло, когда поблизости остановился еще один автомобиль, из него вышли люди в форме – с рыболовными удочками. Один из них помог нам заклеить камеру, а другие разбрелись по кромке берега и начали забрасывать свои удочки. Потом кто-то крикнул «Вот она!» – и я увидел, как метрах в двадцати от меня рыбак в форме вытаскивает крупную калифорнийскую форель, я еще не знал название той рыбы. Она билась о скалистый берег, мне каким-то образом удалось схватить ее обеими руками, она вырывалась изо всех сил, потом все слабее, а рыбак смеялся. «Да-

вай ее сюда», – сказал он, обрадованный хорошим уловом, и опустил рыбу в плетеную корзину с крышкой, висевшую на его левом плече. Я уже вполне ловко удил мелкую морскую рыбу, и мне захотелось, когда вырасту, тоже ловить таких красавиц, и это желание позже, намного позже, исполнилось в тройном размере.

* * *

Мы поехали дальше, в горы, съехали с главной неасфальтированной дороги на узкую и кривую, засыпанную крупным гравием, долго ехали по чахлому лесу, полному каменных глыб, и, наконец, выехали на опушку, к каменному дому, крытому соломой. Перед домом на большом стуле сидел очень старый человек, с седыми волосами и такими же усами, одетый в странный костюм с широким поясом, с головой, покрытой еще более необычной шапкой. Он улыбался, когда я к нему шел. «Это мой внук?» – спросил он. «Да», – ответил кто-то и сказал мне: «Это твой дедушка, поцелуй ему руку». На этом месте пленка обрывается.

* * *

Каждый год мы едем в отпуск, туда, на Большой песок, теперь это заграница, для того, чтобы жить в палатке, надо было получить специальное пограничное разрешение. В сумерках выбегаю на пустую песчаную косу, облака низкие, а волны большие, в тот день нельзя было ни позагорать, ни искупаться. Я один перед морем, это, скорее всего, одно из моих первых

воспоминаний, остальные свернулись в клубок, который я уже не могу распутать. Все это было до того, как я пошел в школу. Я ловлю мелких рыбешек, сидя на корточках на берегу залива, плавая в глубокой воде, я рано научился плавать, не помню, когда и как, в ближнем городке мы идем в какой-то убогий цирк с отощавшими животными и такими же артистами, примерно тогда же я фотографируюсь с негром, вокруг которого собираются дети; увидеть негра – это уже настоящее воспоминание с каникул, я прохожу мимо какой-то пещеры с решетками, в глубине женщины с покрытыми лицами неподвижно сидят у подиума, застланного белым вышитым покрывалом; через ветки сосен, внизу, на скалах, впервые вижу голую женщину. «Это нудистский пляж», – говорит кто-то. Однажды вдалеке, в день, когда море было особенно бурным, на взбесившихся волнах показывается голова будущего утопленника. А потом, как-то утром, мы только вышли на пляж, чей-то охрипший голос в панике вопит: «Землетрясение, землетрясение в С.!» Прерываем отпуск, и потом я помню только, как меня по длинной улице ведут к дяде и тете Анне, с ними я буду жить следующие несколько лет.

* * *

Это опять, как из какого-то сна, из тумана, но все-таки очень реально. Меня взяли с собой кататься на лыжах, на гору, которая теперь в другой стране. Мы ехали на поезде. Я отправился в дорогу в летних ботинках, не готовый к холоду и снегу, снаряжение получил толь-

ко, когда мы добрались до базы в горах. Лыжная трасса была крутая, почти вертикальная, мне казалось, что от скорости спуска я взлечу, а на самом деле я не умел ни ездить зигзагом, ни тормозить, поэтому останавливался, бросаясь в снег там, внизу, отвязывал лыжи и медленно поднимался наверх. Ночью наш поезд стоял, ждали «разъезда», так сказали, я не знал, что такое «разъезд». А потом мимо нас проехал другой состав, но поезд и дальше стоял. В купе было холодно, от дыхания людей запотели окна. Я повернул ручку радиатора, в тот момент поезд тронулся. «Ха, ты разбудил машиниста», – сказал кто-то из старших, и я, правда, подумал что это я отдал команду поезду двигаться. На горе мы грелись у большой печки, пили чай и на завтрак ели хлеб, намазанный повидлом из больших консервных банок. Однажды ночью я не мог уснуть, вышел в снежный холод и спустился по утопанной тропинке к гостинице, где горели все лампы. Через большое окно я видел, как знакомый мне мужчина обнимает незнакомую мне женщину. Это «разъезд»?

Сон продолжается. После катания на лыжах мы поехали на другой конец страны, в какой-то маленький город, здесь я впервые увидел бильярдный стол, а потом мы отправились на лошадях к другой засыпанной снегом горе. Мы переночевали в одиноко стоявшем доме, где люди ночью лежали на кошке, расстеленной на полу, свернувшись калачиком вокруг большого открытого очага, а я спал на единственной кровати, под грубым суконным одеялом, под которым едва мог дышать. Потом мы продолжили путь до такого же оди-

ногого дома, до точно такого же очага и такой же кошмы, без кроватей. Вокруг очага сидели мальчики моего возраста, курили и разговаривали, как взрослые люди. Один из них свернул сигарету и меня угостил. Я прикурил от уголька из очага и сделал свою первую затяжку. У меня закружилась голова, но я не подал вида, пыхтел сигаретой, задыхаясь в дыму очага, над которым висели цепи с котелком, полным мамалыги. Мамалыга булькала, как раскаленная лава. Мне положили полную жестяную тарелку, я съел все, облизал ложку и растянулся на расстеленной кошме. Ночью я вышел из дома пописать, морозное небо было усыпано близкими хрустальными звездами.

* * *

Едем куда-то из города, на нашем первом и единственном автомобиле, брюзжащей русской машине, на которой можно и в Сибирь. «Вот, сотня», – говорит кто-то из попутчиков, и я наклоняюсь через плечо водителя. На приборной доске стрелка пересекает сотое деление. Мелькает дорога. Мосты, поля, леса. Останавливаемся у большой реки, я не знаю, где это, спускаемся к берегу, я рассматриваю рыбок на мелководье, бросаю в воду камешки, стараясь, чтобы получились «блинчики», и тут они мне говорят, что больше не будут жить вместе. Накануне ночью меня вырвала из сна их ссора: «Спи, – говорили они громко, – спи». Поворачиваюсь на другой бок, лицом к стене, и сплю дальше.

* * *

Я пошел в школу, меня отдали в шесть лет, ввали, что потерялась метрика, что пропала в землетрясении, сгорела, что ее никак не могут найти, но обязательно принесут, как только получают дубликат. И, правда, дубликат, наконец, пришел, но в конце учебного года. Помню, фамилия учительницы была Никчевич, она была молодая, строгая и полненькая, раздавала оплеухи, лупила розгой по ладоням, таскала за уши и за волосы, больше всего за волосы, прямо за ушами, здесь больше всего. Ругала меня за то, что я не мою руки, каждый день она осматривала наши руки. «Ты не мыл руки», – шлёп. «Ты опять не мыл руки», – шлёп, шлёп по ладоням тонкой гибкой розгой. «А где же это ты научился так читать?» – спросила она меня через несколько дней после начала занятий, мы еще только выводили первые косые тонкие и прямые жирные в наших тетрадках, с загнутыми углами листов и пятнами на них. «Не знаю», – сказал я, читая вслух заданный текст из книги для чтения для старших классов, пока большинство детей складывало первые буквы: «Миша машет Маше, Маша машет Мише, пиши, Миша». Я не помню, кто, когда и как научил меня читать, мне кажется, что я это умел всегда, что это умение старше меня, как и отчаяние, которое я ношу в себе, сколько себя помню, старше меня, намного старше. «Иди за розгой», – сказала она мне на каком-то уроке, злая на весь свет; свою трепетную молодость она потратила на болванов, обучая их кириллической азбуке и латинскому алфавиту, таблице умножения и тому, как называется страна, в кото-

рой они живут (крепкое знание, но ненадолго), якобы рассердившись на меня, потому что я скучал, пока она писала буквы на доске, прописные и строчные. Ослепнув от страха, я бродил по школьному двору в поисках какого-нибудь куста или дерева, с которого я отломлю прут. Не нашел – и ушел за несколько домов дальше, уже совсем на окраину, и там с живой изгороди отломил жидкий побег и принес ей. «Ты что, думаешь, что это прут?» – она облила меня презрением, – я еще не знал слова, обозначающего этот вид надменного превосходства, но очень четко его ощущал, – сломала его и выбросила в окно. «Иди на место, – приказала она, – и делай то, что тебе говорят, ты должен быть как все». «Если ты не такой, то я тебя научу порядку». Тридцать пять лет спустя слушаю издерганную учительницу моего младшего сына, как она произносит ту же фразу. Все повторяется, и ничто не одинаково.

* * *

«Будь внимательным, когда переходишь улицу, сначала посмотри налево, направо, а потом переходи». А если едет какая-нибудь машина, подожди, пока не проедет. Тащу свой ранец, дохожу до перекрестка, через дорогу школа. Смотрю налево, потом направо. Откуда-то, там, из-за поворота, скорее слышен, чем виден, грузовик, ему нужно не меньше двух минут, чтобы проехать мимо того места, где я стою. Но я его терпеливо дожидаясь. И только после того, как он прогремит, оставляя за собой вонючее облако выхлопных газов, перебегаю улицу.

* * *

Учительница Никчевич ушла в декрет, нас передали учителю Дж. Драшковичу, мягкому, рано облысевшему человеку. Он ездил на велосипеде, закрепив брюки бельевыми прищепками, чтобы они не попадали в спицы колес. «Тебе, малыш, можно сразу в третий класс, хотя ты и для первого еще мал», – говорил он перед всем классом и давал мне книги из застекленного шкафа, серия «Ласточка», те, на которые я с таким вождением глядел все первое полугодие, а учительница Никчевич мне их давать не хотела. «Ты еще не дорос, – не поймешь, порвешь, потеряешь, и что потом? Мне своих забот хватает». И тут она умолкала, как будто укоряя себя за то, что слишком разболталась перед кем-то, кто все равно ничего понять не может. В какой-то другой раз тетка Анна, тяжело вздохнув, а голова ее из-за частых головных болей была укутана клетчатым шарфом, и, закуривая «Ибар» без фильтра (я у нее воровал сигареты и относил в туалет или за домом курил с другими ребятами), с трудом произнесла: «Своя рубашка ближе к телу».

В физкультурном зале, где мы, одетые в белое, в какой-то праздник осыпали цветами стариков, нам показывали и кинохронику, и настоящие фильмы, и каждый раз надо было принести динар. Тетя через несколько недель сказала: «Больше этого не будет, раз в неделю по динару, хватит уже, передай им, я сказала, что нас эти фильмы не интересуют и динар больше не дадим». «Моя тетя Анна сказала, что нас эти фильмы не интересуют, и динар мы больше не дадим». «Ладно, – сер-

дито ответила учительница Никчевич, – скажи тете, чтобы завтра пришла в школу, а ты пойдешь со всеми другими детьми смотреть фильм, я дам динар». Тетка Анна назавтра пошла в школу и вернулась с поднятым подбородком. «Не будут они мне...», – процедила она злобно, и это было все, что я смог от нее услышать. Что было дальше, не знаю.

* * *

Скитаясь по окрестным улицам, что мне казалось завоеванием мира, перед входом в какое-то здание я нашел крупную купюру. Она как будто меня дожидалась, похожее чувство у меня бывает сейчас, когда я ловлю рыбу; никто и никогда не сможет объяснить магию встречи руки солдата и моей головы, или моей удочки и моей рыбы, да это и ни к чему, это случайность или, может быть, неизбежность высшего порядка, как знать. Мгновение, *когда меня увидит то, что я ищу*. Я не представлял себе, что делать с такими деньгами, до этого я имел дело только с белыми и желтыми мелкими монетами; совсем маленьким я говорил: «Дай мне желтые, белые не хочу», – и не более того. А потом сообразил, я собирал картинки от шоколадок *Царство зверей*. Зайдя в бакалею рядом с Домом культуры, где была моя начальная школа, пока не построили первое настоящее школьное здание, я попросил шоколадки с картинками животных на все. (Эти картинки были приклеены каким-то крепким клеем, и требовалась сноровка, чтобы детская рука, не повредив, сняла их с обертки, чтобы наклеить в альбом на определенное

место. За заполненный альбом давали приз – пакет сластей). Продавец ничего не сказал, просто насыпал мне в бумажный пакет бог знает сколько маленьких плиток в голубой обертке с желтыми буквами. Я ел их в комнате, пока меня не затошнило, что было ерундой по сравнению с другой неприятностью. На всех шоколадках я обнаруживал один и тот же рисунок – кенгуру. И как мне после этого любить кенгуру?

* * *

Радио слушали целыми днями. Музыка, новости, спортивные трансляции, веселый вечер. «Убили Кеннеди», – скажут однажды. «Кто это – Кеннеди?» – спрашиваю. Никто не отвечает. На следующий день на первой полосе «Политики» читаю о покушении на американского президента. «Читай вслух», – говорит мне тетя Анна, ей мелко, у них с дядей одни очки на двоих, дядя их вечно где-то теряет. Он читает Андрича, из собрания сочинений, которое теперь у меня. «Мне больше нравится “Травницкая хроника”», – говорит он. «Что это – Травник?» «Город». «А хроника?» «Это вы будете проходить в школе». «Что такое хроника?» – спрашиваю как-то учительницу. «С чего это ты?» – отвечает она вопросом на вопрос, избегая ответа.

Радио не перестает работать, у него необычная антенна, из проволоки, свернутой спиралью, которая перемещается по дому, чтобы легче ловить станцию. Лучшее всего – когда эта смешная спираль, как будто снятая с головы какого-нибудь марсианина (так я представлял

себе инопланетян, с антенной), стоит на перевернутой металлической кастрюле у окна. Сюда ее ставят после завтрака, обеда и ужина. Мы ждем нашу любимую песню, не знаю ее названия, но помню весь текст и сегодня: «Маленький салун на той дороге, / ведущей куда-то в Теннесси, / там всегда полно виски / и всем известных ковбоев. / Там сидят Боб и Джон, / Гарри, Джеки и Джимми Стоун, / всем известные персоны со старого Дикого Запада». Как-то так. Поет Диего Варагич. Мы узнаем песню с первых тактов, тетя делает громче, и мы с ней насвистываем. «У тебя есть слух, – говорит она мне, – странно, в вашей семье ни у кого нет слуха». Мексиканские песни поют С. Перович и Н. Карович, это мы слушаем, но не свистим, скримминг и «ай-яй-яй», это не высвистывается. Песня, которую пел Диего Варагич, моя первая встреча, до проигрывателя, кино и телевидения, с тем музыкальным жанром, который потом я буду любить больше других.

* * *

Учитель пения собирал хор. Он вошел в наш класс, неся какой-то неизвестный мне музыкальный инструмент с клавиатурой, и спросил нашу учительницу, кто умеет петь. Она показала пальцем на нескольких мальчиков и девочек, с ней мы на уроках музыки пели: «От дома до школы, / от школы до дома, / всегда понемногу что-то перешептывается. / Перешептываются письма (если я правильно понял, глупость несусветная, не понимаю, как письма могут перешептываться, но, ладно,

хорошо, не буду цепляться, итак), шепчутся письма / и нашептывают тайны, / шепчутся клятвы / великие и блестящие, / тихо тише, тихо тише, тихо... тише / – как шелест дождя». Учитель пения давал тон и просил этих отобранных учеников повторить, одного за другим. Все прошли, кроме меня. «Нет слуха», – шепнул он нашей учительнице, которая удивленно замотала головой. «Как – нет слуха?» Это был шепот, который я отлично слышал, и мне стало так обидно, не потому что у меня не было слуха, но от того, что от волнения я не мог раскрыть рта, а когда мне кое-как удалось, я издал какой-то горловой звук, ни к селу, ни к городу. Весь класс смеялся, как и тогда, когда я, читая, ошибся в ударении в одном слове. Детские жестокости и подлости могут быть очень brutальными, теперь я знаю, что это просто тренировка взросления. Несколько лет спустя учительница сербского языка, тоже по фамилии Никчевич, заставила меня из моих скудных карманных денег заплатить за книги для домашнего чтения, два других ученика не внесли плату; и сама меня назначила собирать эти деньги. И когда я, наконец, собрал требуемую сумму, деньги исчезли из кармана брюк, которые я снял перед уроком физкультуры. Украл тот-то, шепнул мне один одноклассник, и после школы я незаметно пошел за воров до его дома. Подождал несколько минут, пешком поднялся на шестой этаж, хотя и лифт работал, и позвонил в дверь. Он открыл. Я смотрел ему в глаза: «Ты украл мои деньги на домашнее чтение», – сказал я ему, на что он смутился, не знал, что сказать, а потом отвернулся и крикнул в глубину квартиры: «Мама, дай мне динар, – а потом тихо, умоляю-

ще добавил, — не выдавай меня, я верну, у меня сейчас нет». Сделал ли он это, не знаю, выветрилось из памяти. В другой раз какая-то разгневанная женщина прямо с улицы влетела в наш класс и начала орать на меня, якобы, я из окна выкрикивал ей вслед непристойности. Я молчал, без вины виноватый, и не мог произнести ни слова.

Долго ли, коротко, но однажды утром в школьном дворе появились металлические конструкции для баскетбола, без корзин. Важное событие. Корзины приделали позже, что нам совершенно не мешало целыми днями лупить по щитам, воображая, как мы издалека попадаем в корзины.

* * *

В футбол мы играли посреди улицы, здесь, в отличие от газона с кочками, было ровно, а кромки дороги нам служили вместо линии поля. Когда вдали слышался шум грузовика или же, совсем редко, сигнализировал автомобиль, мы убирали свои ранцы, служившие стойками ворот, ждали, пока машина, сигналив, проедет мимо, и играли до темноты, пока не валились с ног. (Уроки мы делали сразу после школы, иногда и на последнем уроке, чтобы на игру оставалось как можно больше времени, на «дуракаваляние», как говорила моя тетя.) Я очень страдал от того, что не умел так ударить по мячу, чтобы он летел высоко, я передавал пассы низом. В сторонке стояли девочки и наблюдали за нами в перерывах между своими играми — в классики и с обручем, бывшие тогда для них главным развле-

чением и времяпрепровождением. Одна из них, постарше, которой совершенно очевидно по какой-то причине я нравился, проявляла свою симпатию, награждая меня при малейшей возможности звонкими оплеухами. Я переносил это с каким-то детским стоическим спокойствием. Любовь и боль, так или иначе, всегда приходят вместе, «бьет значит любит», так говорили тогда, так говорят и сейчас.

* * *

Кроме футбола, мы еще играли в войну. Никто не хотел быть немцем, поэтому мы стреляли по прохожим, воображая, что это они немцы; выпрыгиваешь из-за угла перед какой-нибудь изумленной старушкой или мамашей с младенцем, разумеется, немкой, и выпускаешь в нее несколько пуль, или стреляешь из укрытия, когда проходит кто-то постарше, серьезнее, опаснее – та-та-та, одиночными или очередями. Вместе с девочками мы играли в «штандер-стоп» и наивную, паразротическую игру, названия которой я не помню, но помню, что пелось¹. Мальчики и девочки выстраиваются в цепочку, сходятся и расходятся, распевая песенку. Тот или та, кого выбрали, должен вырваться из своей цепочки и перейти на другую сторону. И так до тех пор, пока одна цепочка не станет другой. Так выясняются симпатии. Девочка по имени Вёсна всегда выбирает меня и краснеет, когда я выбираю Диану. Любовь и ревность.

1 Ср. с русской игрой и песенкой «Бояре, а мы к вам пришли...»

* * *

На большой забетонированной площадке, где стоят качели, сломанные с одной стороны, низкая горка, до блеска натертая катающимися детьми, съезжающими сломя голову в отвал с грязным песком, и несколько поломанных парковых скамеек (на одной из них я фотографировался с теткой Анной), я вижу двух девочек, на год-другой старше меня. У них ракетки для бадминтона, я еще не знаю, как называется эта игра, но сразу же хочу в нее сыграть. Они отходят к краю площадки, к самой ограде парка, а я смотрю, как они, сначала неумело, а потом все более ловко перебрасывают мячик с сеточкой из перьев, и прошу дать мне попробовать. Они неумолимы, улыбаются и резкими движениями отправляют мячик высоко-высоко, хихикают от радости и удовольствия, а я теперь стою в сторонке и, не говоря ни слова, умоляюще на них смотрю. Тогда одна из них, та, которая повыше ростом, с красным лицом, оборачивается на меня и насмешливо произносит: «Иди, играй в клис¹, а это не для тебя». Я не знаю, что такое «клиз», поднимаюсь на горку и, съезжая по изношенной железяке, рву штаны.

* * *

Из школы приношу вшей. У девочки, которая сидела со мной за одной партой, были длинные черные, всегда аккуратно причесанные волосы. Иногда, когда она

1 Ныне забытая игра, была популярна в странах Балканского полуострова до середины XX в.; ср. с русской лаптой.

наклонялась над моей тетрадью, чтобы списать домашнее задание, я чувствовал неприятный запах, а наши волосы соприкасались. Я начал чесаться, чесалась вся голова. «Что ты скребешься, как вшивый, — сказала тетка, — иди сюда». Она взяла свой частый костяной гребешок, на столе расстелила старые газеты и начала тщательно вычесывать мои волосы. В какой-то момент что-то, шлёп, упало на газету. Крошечная вошь шевелила лапками. «Раздевайся, — сказала тетка, — неси корыто». Этим словом она называла ванну, в которой меня мыли по субботам. Но тогда была не суббота, хотя и не обязательно, может быть, и суббота, тогда мы и по субботам ходили в школу. Она отскребла меня с ног до головы и постригла, грубо и неровно, большими портновскими ножницами, как однажды я постригся сам, когда челка падала на глаза, была и ругань, и лишние хлопоты. На следующий день в школе всем мальчикам приказали постричься «под ноль». Тетя отвела меня к «цирюльнику», этим словом она называла парикмахера, и сказала ему: «Постриги его машинкой, поставь на «единицу», будут они мне указывать, как мне стричь моего ребенка». Парикмахера звали Яганяц. По стенам у него были развешены фотографии футболистов, из чего я сделал вывод, что мы с ним болеем за разные команды. На следующий день в первом классе только моя голова не светилась белым. У меня была беретка, которую тетя называла «французенка», вельветовые брюки и ботинки на дождь, на резиновом ходу, которые, несмотря на то, что были непромокаемые и хорошо сработаны, никогда не были сухими внутри; я любил в них после школы

шлепать по лужам с развязанными шнурками, потому что не умел их завязывать.

* * *

Едем на экскурсию. Нас везут за город, на природу, учат, как называются деревья, а нам бы в мяч поиграть. Когда эта попытка заканчивается, учительницы с болтающими девчонками скрываются в тени большого дуба (вот, я выучил, как называется это дерево), а мы носимся за резиновым мячом по грязной неровной поляне. Я, вообще-то, не ношусь, я вратарь, вратарями всегда ставят тех, кто хуже всех играет, это лучшие друзья футболиста. (Я хотел стать вратарем тогда, воображал себя Шоле¹ и без зазрения совести валился в грязь, неуклюже имитируя броски, кидался на каждый мяч, когда надо и не надо.) И смотрю вот так – с воображаемой линии ворот, – как обе команды, одной стаей, не поймешь, кто есть кто, кто кому пасует, с визгом бегут за мячом, важно пробить, первым добежать до мяча, ударить по нему со всей силы, и неважно, куда он полетит. Все вопят «дай», «пасуй», «бей», «на меня», и в этом шуме и гаме ничего не разберешь. Пенальти пробивают и в «стенку» выстраиваются самые сильные, судья – любой, а последнее слово за тем, у кого мяч; судья все время злится, что ему не отдают мяч, и грозит, что выйдет из игры, а остальные его упраскивают не делать этого. Потом, потные, садимся

1 Милутин Шошкич, Шоле (р. 1937) – вратарь сборной Югославии по футболу в 1959–1966 гг.

на траву и полдничаем, кто чем. В моем ранце нахожу краюшку хлеба, завернутую в чистое кухонное полотенце, и банку сардин, без ключа, куда-то я его дел или потерял. Вспоминаю, что у меня в кармане есть гвоздь, я нашел его на дороге несколько дней назад, возвращаясь из школы. Еще мне нужен камень. Нахожу и его, в канаве, шагах в десяти. Гвоздем пробиваю несколько дырок, отгибаю угол крышки ровно настолько, чтобы веточкой макать кусочки хлеба в масло и рыбные крошки. Мне кажется, что я никогда не ел ничего вкуснее, это был мой первый заработанный обед.

* * *

Мы переехали в другой город, и это теперь за граница. Ехали на поезде по узкоколейке, ночью, мимо каких-то озер. Тетя зашила деньги под подкладку своей кофты: «По поездкам всякие люди шатаются, – сказала, – так-то оно надежнее будет». В новой школе свои письменные работы я читал старшим классам. «Вы слышали, как надо писать?» – спрашивала строгая учительница, ее фамилию я не запомнил. Дорога в школу была грязная, пролегалa между покосившихся бедных домов, построенных вдоль русла ручья. Как-то раз мне захотелось писать. Я остановился у водосточной трубы и пустил струю. Меня ударило током, водосточная труба, похоже, это я понял намного позже, служила своего рода заземлением электропроводки, а еще намного позже, в романе «Циклоп» Ранко Маринковича¹

1 Ранко Маринкович (1913–2001) – хорватский писатель.

я прочел, как Маэстро, один из персонажей, списанный с Тина Уевича¹, совершил самоубийство. В этом городе я впервые посмотрел цветной фильм – «Три мушкетера». Я был очарован, одноименную книгу потом прочитал не меньше трех раз, да что там, я ее знал почти наизусть, как и *«Годы на последней парте»* Бранко Чопича. Я научился играть в шахматы, точнее, выучил, как ходят фигуры. И дальше не продвинулся. Значит, я умею играть в шахматы. Значит, я не умею играть в шахматы. Но зато однажды осенью, когда моей тете надоело завязывать мне шнурки на ботинках перед выходом в школу, я научился делать это сам. Сначала тренируешься с большим пальцем и «завязками» (так она называла шнурки). Берешь их с двух концов, наматываешь на палец, сначала перебрасываешь концы, потом делаешь петлю, и готово дело. Значит, я умею завязывать шнурки. Значит, я умею развязывать шнурки. Вскоре я научился и кататься на велосипеде. Позже я садился на него очень редко, последний раз лет в пятнадцать. Значит, я умею ездить на велосипеде. Значит, не знаю, умею ли я ездить на велосипеде. Я умею мастерить удочки, этому меня научил один дядин друг, картежник. И люблю поесть сыру, хотя и не умею играть на флейте. На бас-гитаре, о, да! Немного, но достаточно, пам-пам-пам, ду-ду-ду, это основа всего. Играй, Кит, что тебе придет в голову, я с тобой, душа моя принадлежит тебе.

1 Тин Уевич (1891–1955) – хорватский поэт-экспрессионист.

* * *

Напротив дома была железная дорога, а сразу за насыпью заболоченный пустырь, с ручьями и большими лужами. Летом в этих лужах мы ловили красноперок и окуней, а зимой катались на коньках. И однажды зимой моему приятелю Б. Любановичу (он был немного старше меня) и мне показалось, что лед на лужах уже достаточно толстый и по нему можно кататься. У Б. Любановича были настоящие коньки, а мне он дал «снегурки» своей старшей сестры, их надо было привязывать ремнями к обычным зимним ботинкам. И вот, в какой-то солнечный морозный полдень мы выскользнули из дому, перешли железную дорогу и сразу, на первой же ледяной площадке, стали кататься. Вдруг Б. Любанович провалился рядом с камышом, значит, тут лед не был достаточно прочным. Пытаясь ему помочь, провалился и я, кое-как мы выбрались из воды, от которой прерывалось дыхание, цепляясь за сухой камыш и друг за друга. Мы пошли к его матери, она нас высушила и передела, без слова ругани, только сказала: «Дети, думайте, что делаете, образумьтесь уже». Вода была холоднее, чем тот быстрый поток прошлой осенью на экскурсии, который я переплыл, одетый только в пижамные штаны, выпендриваясь перед девочками. Так я заработал первый выговор от классного руководителя, а второй – когда сбежал с урока музыки, чтобы посмотреть трансляцию футбольного матча «Партизан» – «Марибор». С тем же Любановичем я однажды едва не погиб. Мы переходили улицу по пешеходному переходу, прошли мимо троллей-

буса, который, как и положено, остановился на красный, но какой-то придурок на «москвиче» промчался на огромной скорости в миллиметре от нас, почти нас коснувшись. Мы только переглянулись, уф, пронесло... Теперь у меня все перепуталось, где, что и как, но я не пытаюсь распутывать, воспоминания движутся туда, куда им хочется. Мы вспоминаем не то, что нам хотелось бы вспоминать, а то, что хочет, чтобы его вспомнили, и для этого использует нас.

* * *

«Завтра ты будешь дежурным по школе», – говорит мне учитель Дж. Драшкович. Вот тебе книга, читай, смотри на часы, и когда наступит время окончания урока, звони. И смотри, кто входит в школу. Если зайдет кто-нибудь незнакомый, сразу зови техничку. (Местный дурачок Н. Л., выписанный из психбольницы как неопасный, иногда в сумерках, распахивал на школьном дворе пальто и пугал девочек. Не только у Феллини и Ранко Маринковича были такие воспоминания. Тогда за убогим обычно приходила какая-то низенькая женщина, укоряла его и тянула за рукав: «Бедная я, бедная, – вздыхала она, – стыд и срам...»)

Тетя надевает на меня белую рубашку, зачесывает мне пробор на левую сторону, дает выглаженную синюю куртку, и я впервые иду в школу без ранца, только с книгой в руке – Ахмет Хромаджич, «Гном из забытой страны». Лучше бы это были «Пещеры великих охотников», которую в конце прошлого учебного года мне подарил мой товарищ Д. Хрешчак, когда они переехали,

или это я переехал, в этом не уверен, меня постоянно куда-то переселяли, да ладно уж, что есть, то есть. Захожу в застекленное помещение для дежурного по школе, сажусь, кладу перед собой книгу, даю звонок к началу второй смены, весь такой важный, мимо меня проходит Диана, которая мне нравится, но не знаю, нравлюсь ли я ей, хотя нам уже поют издевательскую песенку «Тили-тили-тесто, жених и невеста...» За ней следом – та самая Вёсна (дети кричали: «Вёсна злючка, ботинки тебе малы, носки узки, ты глупая гусыня»). Теперь так мало девочек называют этим именем, а в мое время было невозможно не влюбиться в какую-нибудь Вёсну, столько их было; если не в Вёсну, то наверняка в Наду, а потом вперед вырвались Милицы и Елены. Той Вёсне, о которой я рассказываю, с точки зрения школьного дежурного (а это очень важный момент фокализации, все видно, весь мир, как на ладони), я, несомненно, нравлюсь, потому что она на последней странице моей тетрадки «для всего» написала: «Кто это пишет, тот тебя больше всего любит», что в моей жизни стало первым прямым признанием в любви. Но – а это тоже важно – богатый опыт школьного звонаря свидетельствует, что я не уверен, нравится ли мне Вёсна. Все-таки, наверное, нет. Я не мог объяснить себе, почему. Все-таки, наверное – да, мне нравятся все, кому нравлюсь я.

* * *

Зачитался и забыл дать звонок к окончанию первого урока. Едва не описавшись от страха, молниеносно придумываю оправдание, с опозданием на пять ми-

нут бегу по коридору и кричу: «Нет света, нет света, конец урока». Пока бежал, поскользнулся в коридоре на скользкой керамической плитке, школа новая, с иглолки, растянулся во весь рост, ударился подбородком, отломился кусочек резца; по сей день улыбаюсь щелью, у меня расхождение передних зубов; люди со щербинкой (так тетя Анна называет этот промежуток) родились под счастливой звездой, говорит она. (Через сто лет я узнал, что врачи называют щербинку диастемой.) Ошеломленный, с неприятным ощущением трещины под языком, теряюсь в толпе и визге детей. Потом больше не читаю, а замороженно наблюдаю, как большая стрелка ежеминутно вздрагивает, и звоню с точностью до секунды. Домой прихожу утомленный и рассеянный, я забыл книгу, и когда вечером, измученный многочасовым наблюдением за часами, закрываю глаза с желанием как можно скорее заснуть, то вижу циферблат и стрелку, которая так медленно и долго движется. И часы не перестают отсчитывать время даже сейчас, когда я это пишу. Однажды они остановятся, знаю, что остановятся. Или не остановятся. Я остановлюсь, а стрелка продолжит кружиться. Перед глазами какого-нибудь другого дежурного по школе.

* * *

Тетя Анна расстелила на траве одеяло, лето на излете. Пьет грушевый ликер из крохотной рюмочки, с ноготь мизинца. Удивляюсь, как ей всегда удается не пролить ни капли, переливая жидкость из красивой пузатой бутылки со стеклянной пробкой, настоящий

мастер, а делает она ликер из разбавленного медицинского спирта и густого концентрата для выпечки, который продается в четырехгранных бутылках. Иногда, выпив рюмку-другую лишку, и мне дает лизнуть. Липко и приторно. «А-а», – говорит и озорно подмигивает, это она научила меня завязывать шнурки и подмигивать. «Что скажешь?» Не говорю ничего. Мы сидим на солнце днем, позднее лето, тетя Анна пьет мелкими глотками свой грушевый ликер (однажды по ошибке я глотнул из бутылки с медицинским спиртом, думая, что это вода, целый день у меня першило в горле, и я никому не мог признаться в случившемся), я жую хрупкое печенье, крошки летят на одеяло, тетя только что укоряла меня за разорванный целлофан, в который была упакована коробка; она купила печенье не из-за печенья, а из-за целлофана, который я небрежно порвал, когда вскрывал коробку, целлофана нет в свободной продаже, а он ей нужен закрывать банки с домашними консервами, которые она скоро начнет заготавливать на зиму. Видит, что я, несчастный, из-за того, что она на меня ругалась, больше крошу, чем ем, готовый расплакаться. «Ладно, – говорит примирительно, – ну, случилось, и что теперь, ты же не будешь плакать каждый раз, когда я на тебя прикрикну». Умолкает, берет бутылку с ликером и, наливая его в свою миниатюрную рюмочку, впервые проливает несколько капель. Аккуратно облизывает пальцы и горлышко бутылки и отворачивается от меня, чтобы я не видел, как она заплакала, сначала тихо, а потом не может скрыть слез и начинает всхлипывать. «Это все от солнца, – говорит тетя, слегка подвыпившая, – оно еще сильное. – Потом тишина. –

Мне пятьдесят пять лет, – вдруг произносит она, без какой-либо видимой причины, мне непонятно, какое это имеет отношение к грушевому ликеру, целлофану и одеялу, на которое я крошу печенье. – Да, – повторяет, – пятьдесят пять, пятьдесят пять», – и не перестает плакать.

Какая она старая, думаю про себя и не могу вообразить, как я буду выглядеть, когда пятьдесят пять будет мне. Теперь знаю, я пересек эту черту.

* * *

Из дому исчезло пятьсот динаров. Сумма не маленькая. Когда мне дают деньги, чтобы я купил газеты, на перекрестке, куда после полудня привозят «Политику», обязательно повторяют: «Пересчитай сдачу и крепко держи ее в руке». «Я же отдал тебе деньги, – не очень уверенно, как будто оправдываясь, говорит дядя, – наверное, ты их куда-то задевал, посмотри в карманах». А я уже давно вывернул карманы, оба, которые у меня были. «Может, в ранец засунул?» Смотрю в ранце, листаю и перетряхиваю пару тоненьких учебников и несколько тетрадок, лезу под стол и под кровать, нигде нет. «Ты их взял», – вдруг мне говорит молодой дядин знакомый, как будто выдвигает против меня обвинение. «Я не брал». «Взял». «Не брал». «Ты взял, признавайся». «Оставь ребенка в покое», – говорит ему тетя, но дядин знакомый не умолкает. Он студент, заходит редко, всегда приводит с собой какую-то худую девушку, она на меня как-то странно смотрит, я еще не знаю, что такое презрение, но чувствую это; в конце концов

тетя из своего маленького кошелька с металлическим замочком вынимает мелочь, и я иду на перекресток, там в киоске, сразу за мостом, покупаю газеты, которые продавец откладывает для постоянных клиентов. Подаю ему деньги, и он молча, потому что давно знает, что я покупаю каждый день, оглянувшись, чтобы проверить, не видит ли кто, достает из-под прилавка свежий номер «Политики». Когда я возвращаюсь домой, дядя грозит, что в воскресенье, в порядке наказания, не будет «Забавника»¹ и забирает из ранца тетрадку «для всего», куда я вклеиваю вырезки из этого «Забавника» и «Политики», героев комиксов и результаты футбольных матчей. Через два дня утром обнаруживаю на столе и новый номер «Забавника», и тетрадку с вырезками. Тетя улыбается, дядя виновато отводит взгляд, купюра выпала у него из кармана, когда он прилег после обеда, и завалилась под матрац. Дядин знакомый ничего не сказал, он куда-то ехал. И навсегда остался неприятен.

* * *

После обеда дядя обязательно спит. Он служащий, рано вышедший на пенсию. После завтрака обязательно выходит в город, в клуб пенсионеров, играть в шахматы, но лучше в карты, в марьяж или преферанс, названия этих игр звучат так странно, дома мы играем в «кубики», в «дурака» и «клезет», тетя Анна его упрекает, что

1 «Политикин Забавник» – детский журнал, выпускаемый издательством ежедневной газеты «Политика».

он играет на деньги, он решительно отрицает. «А вот я застала вас, когда раньше времени вернулась от своих, те деньги под скатертью, это что было?» – настаивает моя благодетельница. «Отстань, женщина, сама не знаешь, что несешь, – отговаривается дядя, больше для порядка, потому что все равно поймали, – ну, играли, и что, мелочь, на интерес». Ссора разгорается: «А то, что я одни туфли ношу уже пять лет, это никого не волнует». «Давай, ругайся дальше, в Париж не поедешь». «Какое тебе дело до того, куда я поеду. Куда захочу, туда и поеду». «Скатертью дорожка...» Отключаюсь. Вернувшись из клуба, дядя всегда посылает меня за газетами. Когда приношу газеты, садимся обедать, все по порядку, от супа до яблока. После обеда тетя убирает со стола и моет посуду, а мы с дядей отправляемся в комнату подремать. Мне редко удается заснуть, глазею в потолок или, сделав себе из одеяла маленькую пещеру, мечтаю о разных вещах и жду, когда дядя проснется. Сколько себя помню – мечтаю, в том возрасте я говорил сам себе, отправлюсь куда-нибудь, где я могу спрятаться и немного мысленно попутешествовать; сладостные часы, когда вы ожидаете то, что само придет вам в голову. Дядя – это человек, засыпающий быстрее всех в мире. Он ложится навзничь, берет «Политику», разворачивает ее над головой, и спустя пять секунд (я считал – один, два, три, четыре, пять...) он спит, лицо накрыто той же «Политикой». Пока он храпит и сопит, «Политика» от дыхания поднимается и опускается; в какой-то момент он во сне отодвигает ее рукой, или она падает сама по себе. Дядя как будто пилит дрова, прищелкивает языком, причмокивает, бормочет, скри-

пит зубами, как в бреду, произносит непонятные слова, будто вспоминает какой-то забытый иностранный язык, кашляет, шипит и присвистывает, фыркает, иногда выпускает газы или рыгает, потом мгновенно просыпается, садится на кровати и спрашивает, скорее, сам себя, потому что я делаю вид, что сплю, а в комнате больше никого нет: «Какой сегодня день?» Потом выпрямляется, поднимает с пола «Политику», это знак, что я могу сделать вид, что он меня разбудил, и так всегда, хоть пятница на дворе, хоть вторник.

* * *

Она снимала у нас комнату. Тетя, намереваясь немного поправить наши финансы, сдала маленькую боковую комнатку, прежде предназначавшуюся для прислуги, студентке педучилища. Особо ничего не могу вспомнить — ни как она выглядела, ни как ее звали, мне кажется, что была она довольно высокой, но восьмилетнему все взрослые кажутся высокими. Она жила у нас полгода, иногда приглашала меня к себе в комнату, там мы о чем-то разговаривали, не помню, о чем, наверное, о ее экзаменах, учебниках и строгих преподавателях; она одевалась у меня на глазах, когда собиралась выйти в город или на занятия, но, однажды заметив, как с интересом, можно сказать, этак по-мужски, я рассматриваю ее обнаженные плечи и груди, стиснутые лифчиком, покраснела и сказала, приказным тоном, предвидя стыд и возбуждение: «Выйди вон». Я вышел. И больше никогда не заходил в ее комнату, даже когда она приглашала. Вскоре она от нас съехала. Я лег в ее

кровать и за несколько ночей, ворочаясь во сне, порвал истончившееся от старости покрывало. У меня был беспокойный сон, иногда я страдал лунатизмом.

* * *

В тот год снега выпало выше моей головы. Дядя почистил дорожку от входных дверей до улицы, сделал проход метров пятнадцать длиной и такой ширины, чтобы мог пройти, задевая высокие снежные стены, только один человек. От мороза снег затвердел. Ночью в свете ближайшего уличного фонаря, занесенного почти до половины, он сверкал, как серебристо-белый хрусталь. Лопаткой для золы я выкопал себе эскимосский иглу, принес из сарая негодную треногу с одной короткой, разошедшейся ногой, которая постоянно выпадала, как-то ее закрепил – и сидел в этой ледяной тишине, в снежном полумраке, пока не замерзал, или пока тетя Анна не звала меня в дом. Это мое убежище продержалось до ранней весны, когда вдруг однажды резко потеплело, и хлынул многодневный ливень, как в Макондо¹. Небеса разверзлись, с них лило и низвергалось, несколько дней мы не ходили в школу. А когда дождь прекратился, и я, ух, наконец, высунул нос из дому, на унылом газоне, залитом лужами, я увидел свою опрокинувшуюся треногу, с выпавшей короткой ногой. Снег исчез, как будто его и не было, с ним и мое ледяное убежище.

1 Вымышленный город из романа «Сто лет одиночества» колумбийского писателя Г. Гарсиа Маркеса (1927–2014).

* * *

Через два дома от нас жил маленький, приземистый человечек Б. Маринович, вечно хмурый, с ухоженными остренькими рыжими усиками. Мы боялись этого Мариновича, он все время, по делу и без дела, кричал на нас, что мы разобьем ему мячом окно, какого черта мы орем под его дверь, а он знает, кто подбросил собачье дерьмо на коврик у его входной двери, и так далее, с причиной или без. Однажды я из рогатки стрелял в дворнягу, которая бежала параллельно с повозкой, запряженной лошадьми, и попал. Возница остановил повозку и погнался за мной. Я бежал, но возница был скор и длинноног и догнал меня точно у дверей Б. Мариновича, где я оказался, трепеща от страха, не думая о том, куда бегу, а только о том, где бы спрятаться. Дверь отворилась, появился Б. Маринович. «Оставь ребенка в покое», – сказал он вознице не терпящим возражения тоном, а когда тот попытался что-то ответить, топорщась ус его прервал: «Ты слышал, что я тебе сказал, нормальный ребенок, вспомни, ты что, в его возрасте ничего такого не делал?» Возница повернулся, за ним с поджатым хвостом бежала собака, в которую я попал. «Иди, парень, домой», – сказал Б. Маринович тоном, которому не возражают. Через несколько дней он вышел к детям, игравшим под его окнами. «Кто-нибудь окажет мне услугу? – спросил он довольно мягко, – я вывихнул палец». И выставил указательный палец из сжатого кулака: «Кто-нибудь может дернуть?» Я, осмелев от его недавнего доброго поступка, отважился: «Давайте, я», – подошел к нему

и потянул за палец. Б. Маринович громко – выпустил газы. Дети засмеялись, а я покраснел с ног до головы.

Примерно через месяц по дороге в школу, на столбе, где обычно клеили некрологи, мы увидели свежее объявление: «С прискорбием извещаем, что наш дорогой Б. Маринович... скоропостижно скончался...»

* * *

И картины, еще картины, только картины: мальчик, камнем убивающий рыбу, на далеком озере. Груды черных сгнивших водорослей, вывалившихся на галечный пляж после ночного шторма. Индейский томагавк, сделанный из сплюснутой консервной банки от ветчины, кровь, пульсируя, вытекает из пореза на руке. Свинка. Нет сил, чтобы ударить по мячу на пустой улице так, чтобы он улетел высоко-высоко, выше крыши трехэтажного дома. Пустые стойки ворот на площадке для гандбола. Война с несуществующим врагом на развалинах рухнувшего дома. Ливень в горах во время экскурсии, крона дерева, сквозь которую льет водопад. Встреча с какими-то дикими детьми на горном перевале, говорящими на непонятном мне языке. Маленький залив перед заводом, в воде тысячи погибших рыб. Ругань местного парикмахера, отказывающегося меня стричь, и такая же моя – ему в ответ. Падение с черешни. Подхожу к морю, вхожу в воду и сразу плыву, я не помню, когда научился, только сказал – умею. Оплеухи, иногда свидетельство любви, которую не умеют выразить, иногда признак того, что меня кто-то не выносит, слабость того, кто бьет. Девочки и три брата, живущие по со-

седству, крадущие у меня новые книги. Ловля голавлей однажды летним утром. Индейский вигвам из стволов молодых деревьев, срубленных на дрова. Кто-то на мясопуст в черном маскарадном костюме демона врывается в нашу мансарду, высунув красный язык, виляя огромным дьявольским хвостом, потом, громко хохоча, исчезает. Снег до горла, белая пустыня посреди Квартала 21. Самец серны посреди нового города, забрел откуда-то из-за реки в песчаную пустыню. Финал большого футбольного матча, чудо. Я потерялся в горах, когда мы катались на лыжах. Лужа мочи, вытекающая из моей брючины, не утерпел после урока. Роль керосиновой лампы, которая что-то говорит в школьном спектакле. Мгновение, когда я впервые увижу большой город.

* * *

Мне исполнилось десять лет. Приближалось окончание учебного года, у меня были только пятерки. Дядя дал мне желтую пятидесятку, ту, с выгравированными головами двоих, про которых я думал, что их срисовали с полной луны, выглядели они одинаково, как в зеркале. Тогда же выяснилось, что я близорук, я щурился перед только что купленным телевизором (через год я увижу, как человек ходит по Луне), то, что написано на доске, я тоже слабовато видел, даже с третьей парты, на первые и вторые сажали самых беспокойных детей или отстающих, чтобы они все время были на глазах и более внимательными; а в сумерках, когда загорались уличные фонари, их мерцающий свет разливался у меня перед глазами. Я обнаружил, что их вижу лучше и четче, если

немного смежить ресницы или смотреть сквозь них, или через дырочку, сделанную из сложенных большого и указательного пальцев. Мне выписали очки. С тех пор я привык смотреть исподлобья и поверх очков, так и смотрю по сей день, люди думают, что я вечно хмурюсь, а я не хмурюсь, это у меня от близорукости. Я взял пятидесятку с луной, зажал в кулаке, кулак засунул в карман и пошел в киоск на перекрестке, туда, за мост, напевая про себя дразнилку про очкариков, которую мне спели мои друзья, положил пятидесятку на прилавок и сказал: «Коробку жвачки». Продавец посмотрел на меня удивленно, потому что до сих пор я, как и все дети, покупал жвачку в виде сигарет только поштучно, пожал плечами, ладно, мол, и протянул мне упаковку, в которой было десять штук. Я пришел к нам во двор и всем детям, которые там играли, дал по одной штуке, угостил. Одной девочке, с молочно-белой кожей и большими глазами, – ее звали Рада, она была младше меня и мне нравилась (тетя Анна строго сказала: «Ты знаешь, что у нее есть», а я не знал, что у нее есть), а ее брат пару лет назад погиб, потому что в подвале, когда он голыми клещами отрывал проволоку для рогатки, его убило током – я дал две жвачки. Она мне улыбнулась, для этого возраста вполне достаточный знак любви.

Мне осталась одна, что справедливо. Я как следует ее разжевал, выдул большой пузырь, я хорошо умел это делать. Пузырь рос и рос, становясь, к изумлению других детей, величиной с мою голову, а потом в какой-то момент, когда дальше надуваться было невозможно, лопнул и заклеил мне все лицо.

Так прошли первые десять лет.

Что происходит в Квартале 21 <i>Перевод Евгении Шатко</i>	5
Хорошо, когда тебя зовут не Ян <i>Перевод Сергея Борисова</i>	16
Кто я для себя <i>Перевод Ольги Сарайкиной</i>	38
Лето <i>Перевод Жанны Перковской</i>	59
У воды (Рыбалка и беседы рыбаков) <i>Перевод Анастасии Плотниковой</i>	84
Трое в лодке <i>Перевод Ольги Сарайкиной</i>	109
Сон в летнюю ночь <i>Перевод Татьяны Жаровой</i>	137
Двое <i>Перевод Юлии Созиной</i>	152
Над поездами, уезжающими вдаль <i>Перевод Елены Сагалович</i>	179

Пусть не случится этого весной <i>Перевод Юлии Созиной</i>	199
Сказка про кошку <i>Перевод Елены Сагалович</i>	207
На троих <i>Перевод Жанны Перковской</i>	213
Клуб замерзающих <i>Перевод Ларисы Савельевой</i>	224
Добродей – мучитель букашек (Николаю Васильевичу Гоголю посвящается) <i>Перевод Жанны Перковской</i>	243
Первые десять лет <i>Перевод Елены Сагалович</i>	258

Литературно-художественное издание 12+

Михайло

Пантич

Кто я для себя

Художественный редактор

Т. Н. Костерина

Оператор компьютерной верстки текста

Л. Г. Иванова

Оператор компьютерной верстки переплета
и иллюстраций В. М. Драновский

Технолог

М. С. Кырбаш

ООО «Центр книги Рудомино»

Николаямская ул., д. 1, Москва, Россия, 109240

Отдел реализации издательства: (495) 915-31-00

e-mail: rudomino@libfl.ru

<http://www.facebook.com/CentreBook>

Технологическое сопровождение

и допечатная подготовка ООО «Бослен»

<http://www.boslen.ru>; e-mail: info@boslen.ru

Подписано в печать 19.12.2019

Формат 84×108/32

Тираж 1000 экз.

Заказ 2548.

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в АО «Первая Образцовая типография»,

филиал «Ульяновский Дом печати»

Гончарова ул., д. 14, г. Ульяновск, Россия, 432980

